

Военные
Приключения

ДОРОГА БЕЗ СЛЕДОВ



ВАСИЛИЙ ВЕДЕНЕЕВ

Василий Владимирович Веденеев

Дорога без следов

Серия «Антон Волков», книга 4

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=184347
Василий Веденеев *Дорога без следов*: Вече; Москва; 2014
ISBN 978-5-4444-7410-5*

Аннотация

В Москву поступают сообщения о предательстве среди высшего командования Красной армии – один из генералов завербован немецкой разведкой. Все подозрения сходятся на К.К. Рокоссовском. Берия выжидает, не зная, как отреагирует на это Сталин. Генерал Ермаков и майор Волков решают спасти командующего фронтом и других попавших под подозрение генералов, отправившись для этого в немецкий тыл. Сталин дает на всю операцию только тридцать суток....

Роман является продолжением «Камеры смертников».

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	62
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Василий Веденеев

Дорога без следов

© Веденеев В.В., наследники, 2009

© ООО «Издательский дом «Вече», 2014

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия,
2017

Сайт издательства www.veche.ru

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И.В.СТАЛИНУ

Прошлой ночью мы снова послали 370 машин и сбросили 700 тонн на Берлин. Первые донесения говорят о превосходных результатах.

30 марта 1943 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В.СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У.ЧЕРЧИЛЛЮ

Получил Ваше послание от 30 марта с сообщением о том, что нужда заставляет Вас и г. Рузвельта отменить посылку конвоев в СССР до сентября. Я понимаю этот неожиданный акт как катастрофическое сокращение поставок военного сырья и вооружения Советскому Союзу со стороны Великобритании и США, так как путь через Великий океан ограничен тоннажем и мало надежен, а южный путь имеет небольшую пропускную способность, ввиду чего оба эти пу-

ти не могут компенсировать прекращения подвоза по северному пути. Понятно, что это обстоятельство не может не отразиться на положении советских войск.

Ф. РУЗВЕЛЬТ И.В. СТАЛИНУ

Уважаемый г-н Сталин.

Направляю Вам это личное письмо с моим старым другом Джозефом Э. Девисом. Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, нам легче переговорить через нашего общего друга.

Г-н Литвинов является другим единственным другом, с которым я говорил на этот счет.

Я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конференциями с большим количеством участников, так и с медлительностью дипломатических переговоров. Поэтому наиболее простым и наиболее практичным методом, который я могу себе представить, была бы неофициальная и совершенно простая встреча между нами в течение нескольких дней.

Мы с Вами, конечно, обсудим военное положение как на суше, так и на море, и я думаю, что мы сможем сделать это и в отсутствии представителей штабов...

Я очень надеюсь, что наши вооруженные силы полностью овладеют Тунисом к концу мая, и Черчилль и я на будущей неделе будем работать над второй фазой наступления.

По нашей оценке, положение таково, что Германия предпримет развернутое наступление против Вас этим летом, и мои штабисты полагают, что оно будет направлено против центра Вашей линии.

Вы делаете великую работу.

Доброго успеха!

Искренне Ваш

Франклин Д.РУЗВЕЛЬТ

5 мая 1943 года.

Глава 1

Сталин медленно прохаживался по ковровой дорожке, глушившей звук шагов его обутых в мягкие сапоги ног – многие опрометчиво считали, что привычку расхаживать он приобрел во время ссылки или тюремного заключения при царизме, и только несколько из особо приближенных людей знали, что вождь жестоко страдал от частых ревматических болей и поэтому так любил выхаживать по кабинету, разминая суставы. Тогда боль отступала.

В правой руке он зажал потухшую трубку; беспокойно шевелились пальцы искалеченной и сохнувшей левой руки, словно помогая удержать все время ускользающую мысль, ухватить ее, подтянуть за хвост ближе к себе и поднести к слабеющим глазам – потемневшим, прищуренным, недобро опущенным на ворсистый ковер под ногами.

Генерал Ермаков, навтытяжку стоявший у торца длинного стола, почувствовал, как взмокла ладонь, державшая кожаную папку с документами. Боясь шевельнуться, он только глазами провожал обтянутую тонким сукном сутуловатую спину вождя, уходившего к своему столу с зажженной сильной лампой под красивым абажуром и множеством уродливо изломанных папирос, грудой наваленных в большой хрустальной пепельнице – табак из них уже почти прогорел в потухшей трубке.

Когда Сталин поворачивался и шел обратно, Алексей Емельянович старался не смотреть в его казавшееся абсолютно невозмутимым, сильно тронутое оспой лицо с толстыми усами, а глядел на пуговицу или на трубку, крепко захваченную тонкими пальцами.

За длинным столом для заседаний, вплотную приставленным к письменному столу вождя, сидели Лаврентий Берия, Клим Ворошилов, Лазарь Каганович и Вячеслав Молотов. Генерал ожидал увидеть в кабинете и Льва Мехлиса, но его не было, и это показалось добрым знаком, неким обещающим предзнаменованием.

Вячеслав Михайлович Молотов, поблескивая стеклышками пенсне, за которыми прятались холодные светлые глаза, устроился слева от рабочего места товарища Сталина, разложив перед собой бумаги. Напротив него сидел вечно розоволицый Климент Ефремович в маршальской форме. Рядом с Молотовым, постоянно вертя головой, словно она, как у куклы-марионетки, была невидимой нитью связана с расхаживавшим по кабинету Сталиным, помогала ему делать каждый новый шаг по ковру и незримо поддерживала, нервно ерзал на стуле Лазарь Моисеевич Каганович.

Поодаль от них, на той же стороне стола, усевшись так, чтобы все время находиться лицом к товарищу Сталину, пристроился Лаврентий Павлович Берия, одетый в темный двубортный костюм и светлую крахмальную сорочку с темно-вишневым галстуком. На губах его застыла не то усмеш-

ка, не то брезгливая гримаса. Чуть подрагивающими от тщательно скрываемого нервного возбуждения пальцами он брал за уголки лежавшие перед ним документы и складывал их в стопку, аккуратно подравнивая края. Нарком закончил свой короткий доклад, веское слово об измене сказано!

Шелест листов в руках Лаврентия Павловича стал единственным звуком, который слышал Алексей Емельянович, и от нервного напряжения этот шелест казался ему громом. Или просто так гулко стучало сердце, отдаваясь громким током крови в ушах? По спине, увлажняя рубаху, надетую под кителем, между лопаток потекла струйка холодного пота, вызвав неодолимое желание почесаться, и от этого генералу стало страшно.

Сегодня, когда на очередном докладе член особой пятерки, нарком, небрежно бросил, что генералу Ермакову надо поехать с ним к товарищу Сталину, чтобы присутствовать на совещании по делу генералов-изменников, — он так и сказал: «генералов-изменников», а не «генерала-изменника»! — поскольку могут возникнуть вопросы к непосредственным исполнителям, Алексей Емельянович, как ни странно, обрадовался. Он не смел и мечтать о встрече с вождем, которому безгранично верил, а тут вдруг представилась возможность лично обратиться к нему с просьбой о более тщательной проверке *всех* обстоятельств дела.

Обращаться с этим к наркому бесполезно — он уже принял для себя решение и готов отстаивать его и навязывать другим

собственную точку зрения – раскрыт, пусть еще не до конца, но уже определенно нащупан и непременно *будет раскрыт* новый заговор военных! В таком ключе был построен его краткий доклад, выслушанный в гробовой тишине, прерываемой лишь чирканьем спички о коробок, когда товарищ Сталин прикуривал.

Перед выездом Ермаков вымылся над раковиной в своей комнате отдыха, обтер тело мокрым полотенцем и надел чистое белье. Нет, не как перед смертью, – хотя то, что он задумал, могло закончиться для него трагически, – а как перед боем.

Садясь в машину, он полагал, что сейчас они поедут на ближнюю дачу товарища Сталина в Кунцево, где среди густого, прореженного просеками парка распласталось низкое и широкое здание дачи, построенной по проекту «придворного» архитектора Мирона Ивановича Мержанова в тридцать четвертом году – скрытая деревьями, с огромным солярием во всю крышу, эта дача любима вождем более других, даже построенных тем же Мержановым на юге. Генерал посещал дачу в Кунцево только один раз, еще до войны, совершенно случайно, когда вынужденно сопровождал наркома, но машины свернули к Кремлю...

Прав ли он, замыслив форменный бунт против наркома? Сумеет ли доказать свою правоту, убедить сидящих за столом облегченных огромной властью людей и, главное, вождя, расхаживающего сейчас по ковровой дорожке с зажатой в

руке потухшей трубкой? Не опоздал ли он, генерал Ермаков, со своим бунтом?

Позаимствовав у царя Александра III идею внесудебного Особого совещания при министре внутренних дел, его возродили в новом качестве в тридцатые годы, дав ему право, в отличие от царского, приговаривать к смертной казни. Но кроме дел, направленных на рассмотрение Особого совещания, существовали и так называемые «альбомные дела», о которых было хорошо известно генералу.

Ими обычно занимались трое – Вышинский, Ульрих и Ежов, составлявшие «альбомы», где на отдельных листах кратко излагались дела ста или более человек, и внизу каждого листа стояли заготовленные фамилии «тройки», но без подписи. Если «наверху» на каком-либо листе ставили карандашом единицу, это означало «расстрел», а двойка считалась высочайшей милостью и даровала осужденному жизнь в лагерях на срок не менее *десяти* лет. Не был ли и сейчас уже заранее подан вождям такой «альбом»? Вдруг судьба тех, о ком так настойчиво говорил на совещаниях Берия, уже решена, и напротив каждой фамилии уже проставлены зловещие единицы, как во времена недоброй памяти Николая Ивановича Ежова?!

О, этот Николай Ежов! А до него наркомом внутренних дел был Генрих Ягода, о котором стали старательно забывать. Но Алексей Емельянович помнил, *как* менялись наркомы.

После смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского коллектив чекистов страны возглавил его ближайший соратник – Вячеслав Рудольфович Менжинский. Генрих Ягода тогда уже работал в органах госбезопасности – член партии с девяťсот седьмого года, он импонировал окружающим, умело производя на них впечатление человека делового, спокойно-го, аккуратного и кристально чистого. В Нижнем Новгороде и Петрограде Ягода успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, и в девятнадцатом году его направляют в Наркомат внешней торговли, а в двадцатом – в ВЧК.

После смерти Менжинского в тридцать четвертом году Ягода возглавил ОГПУ, а затем стал наркомом внутренних дел СССР. Как оказалось впоследствии, он только ловко приспособливался к господствовавшему тогда среди чекистов чувству товарищества и строгой партийной ответственности за порученное дело, стараясь ничем особо не выделяться, и внешне копировал стиль работы первого председателя ВЧК и его соратников.

В тридцать шестом году, после непродолжительного пребывания на посту наркома связи, Генрих Ягода был арестован и в тридцать седьмом проходил по процессу «антисоветского, правотроцкистского блока», фигурируя в длинном списке обвиняемых под номером три, после «любимца партии» Бухарина и Рыкова.

В своей патетической речи, обвиняя Ягоду в том, что он является польским шпионом, агентом гестапо, организа-

тором убийства Кирова, отравления Горького, Менжинского и Куйбышева, государственный обвинитель Вышинский весьма убедительно использовал примеры из работ древнего римлянина Тацита, а также судебных прецедентов времен испанского короля Филиппа II и папы римского Климента II, чем неопровержимо доказал суду вину бывшего наркома. И Генрих Ягода безоговорочно признал себя виновным! Может быть, ему за это участие в политическом «действе» обещали сохранить жизнь? Но обещать можно что угодно, а выполнять... Стоит ли верить стоящим у кормила власти? Ягоду обманули и вместе с другими обвиняемыми поставили к стенке – расстреляли. Это называлось «применить высшую меру социальной защиты».

Его сменил Николай Ежов, сначала выдвинутый с поста заместителя наркома земледелия в аппарат ЦК, где он стал заведовать орготделом, а потом промышленным отделом. Вскоре Ежова избрали секретарем ЦК по оргвопросам, а затем назначили наркомом внутренних дел.

В те годы учитель Ермакова Артур Христианович Артузов, теперь уже покойный, смело и прямо заявил на партийном активе:

– Мы превращаемся в то, чего больше всего боялся наш первый чекист Феликс Дзержинский и против чего он неустанно предупреждал: бойтесь превратиться в простых техников аппарата внутреннего ведомства со всеми чиновными недостатками, ставящими вас на одну доску с презрен-

ными охранками капиталистов. Помните, что став на этот путь, вы погубите ЧК...

Спустя некоторое время Артура Христиановича арестовали по обвинению в шпионаже. Один из давних знакомых, служивший в тюремном подотделе, тайком показал Ермакову записку Артузова, кровью написанную им в камере на четвертый день ареста на обороте тюремной квитанции.

«Гражданину Следователю. Привожу доказательства, что я не шпион. Если бы я был шпион, то...»

Не кровь ли безвинно погибшего учителя стучала сейчас молотом в ушах, призывая не упустить момент, сделать все для спасения чести и жизни людей, подготовленных Лаврентием Берией на заклятие для упрочения собственного положения и представления вождю еще одного доказательства своей «верности»?! Будь что будет, но он, генерал Ермаков, должен выполнить свой долг...

Конечно, нарком прекрасный организатор и управленец, хорошо знает оперативную работу, не смотрит в документы разведки, как баран на новые ворота, способных людей привлекает, но...

Сталин все так же молча и сосредоточенно ходил по ковровой дорожке; маятником качалась следом за ним голова Лазаря Кагановича; мрачно уставил глаза в сукно, покрывающее крышку стола, Клим Ворошилов, уже успевший не раз проштрафиться и старавшийся не привлекать к себе внимания; быстро чиркал карандашом на полях лежавших перед

ним документов Вячеслав Молотов – «русский сфинкс», как высокопарно именовали его немецкие газеты до войны. Лаврентий Павлович Берия закончил собирать в стопку бумаги и, в последний раз подравняв их, положил руки по краям, словно готовясь больно дать по пальцам каждому, кто попробует посягнуть на них...

«Он стал наркомом в декабре тридцать восьмого», – мелькнуло у Алексея Емельяновича.

Но тут раздался глухой голос Иосифа Виссарионовича Сталина:

– У кого есть вопросы? – он остановился и медленно обвел взглядом лица присутствовавших.

– Вы все проверили? – не глядя ни на Берию, ни на Ермакова, но жадно ловя малейшие жесты и выражение лица Сталина, спросил Лазарь Моисеевич Каганович.

Под взглядом вождя Климент Ефремович Воршилов еще ниже опустил голову и по-черепашьи втянул ее в плечи, словно вопрос Лазаря Моисеевича обрушился на него внезапной жуткой тяжестью и придавил к столу. Молотов только досадливо дернул щекой, а Берия сохранил на узких губах полуулыбку-полугримасу.

– Так точно, – Ермаков понял, что отвечать надо ему, и удивился, услышав свой голос как бы со стороны: он казался ровным, спокойным, отдающим звоном кованого металла, но сам Алексей Емельянович прекрасно знал, что это звенит не металл: звенят напряженные до предела нервы, готовые в

любой момент перехватить спазмом дыхание, заставить сорваться на фальцет или вообще замолчать.

«Ну, Алексей, немедленно возьми себя руки! – мысленно приказал он самому себе. – Прекрати паниковать, сейчас надо драться!»

– Бывший лейтенант погранвойск НКВД Слобода, – начал Ермаков, чувствуя, как окреп голос и постепенно стало пропадать противное покалывание в кончиках пальцев, – встретил войну на заставе, вступил в бой, затем партизанил, несколько раз бежал из плена. Сообщивший ему сведения об изменнике переводчик Сушков работал в оккупированном городе по заданию подпольного райкома и командования партизанской бригады. Казнен фашистами после пыток. Он был лично известен секретарю подпольного райкома Чернову еще с Гражданской.

– Это тот Чернов, что был комиссаром полка на Южном фронте? – демонстрируя феноменальную память, прервал его Сталин. – Я не ошибаюсь?

– Так точно, товарищ Сталин, – отчеканил генерал.

– Хорошо, продолжайте, – вождь равнодушно повернулся к нему спиной и, подойдя к столу, начал выбивать трубку о край пепельницы. Посыпался серый пепел.

– Подполье в городе разгромлено, мы запрашивали партизан. Ранее к нам уже поступали отдельные сообщения из-за рубежа об измене в высшем эшелоне, но то были только косвенные данные. – Ермаков на секунду замолк и, решив-

шись, сказал: — Однако тщательный анализ имеющихся материалов заставляет говорить о настоятельной необходимости более углубленной проверки *всех* имеющихся сведений.

Берия немного откинулся на спинку стула и с удивленным интересом взглянул на подчиненного — в его взгляде читалась даже некоторая жалость: так охотники, стоящие в засаде, смотрят на вышедшего под выстрел глупого зверя. Смотрят, прежде чем нажать курок и выпустить из ружья смертоносный заряд.

— Надеюсь, вы понимаете, *что* может произойти, если сведения о связи генерала Рокоссовского с немецкой службой безопасности окажутся верны? — не поднимая головы от лежавших перед ним бумаг, тихо спросил Молотов. — И что вы думаете о других генералах?

— Вячеслав Михайлович, — нервно хрустя пальцами, заметил Каганович, — может быть, мы поторопились? Поторопились, когда сняли с генерала Рокоссовского ранее выдвинутое обвинение в измене и доверили командование войсками, вернув из заключения, где он находился... И теперь получаем из-за рубежа и с той стороны фронта только лишь новое подтверждение ранее выявленной измены?

Говоря, он неотрывно смотрел на руки Сталина, занимавшегося трубкой. Вот откинулась крышка коробки папирос, слабо хрустнула под пальцами бумага и с легким шорохом табак пересыпался в чубук.

— Имеющиеся материалы не дают оснований подозревать

других военачальников, — чужим голосом сказал Ермаков. — А для обвинения в измене командующего фронтом генерала Рокоссовского необходимо иметь неопровержимые доказательства.

В кабинете вновь повисла гнетущая тишина, Сталин сломал еще одну папиросу, неторопливо набил трубку и поднес к ней горящую спичку. Глядя на ее пламя, угасшее около его пальцев, словно не решаясь коснуться их, он тихо спросил:

— Обвинить в *измене*?.. — переложив трубку в левую, искалеченную еще в царской тюрьме руку, поднял голову и острыми глазами, в глубине которых притаился гнев, посмотрел в лицо побледневшего Ермакова.

— Что думаете вы, *лично*?

— Нами сделаны необходимые запросы, для работы выделена специальная группа сотрудников, а в штаб войск, которыми командует генерал, направлено несколько опытных оперативных работников, под видом пополнения Смерш и охраны штаба фронта. Готовы люди для работы в тылу врага, — не отводя взгляда, хотя и неприятно засосало под ложечкой, вызывая ощущение тошноты и легкого головокружения, ответил Алексей Емельянович.

— Но зачем, зачем? — не выдержал Каганович. — Зачем в тыл к немцам, а?

— Для проверки полученных сведений, — чуть повернул к нему голову генерал.

— Мы пока не слышали, что думаете лично вы, — мунд-

штук трубки Сталина, как дымящийся после выстрела ствол, поднялся и ткнул в сторону груди Ермакова.

– Думаю, товарищ Сталин, что заговора *нет*! Полагаю необходимым срочно провести новую доскональную проверку данных.

Опустив руку с трубкой, Сталин отвернулся, встопорщив усы в кривой пренебрежительной усмешке.

– Хотите со своими перестраховками и проверками вернуть нас к положению осени сорок первого года? – снова перейдя в атаку, вздернул голову Каганович. – Что еще проверять? Я не понимаю, что? Лаврентий Павлович все вам прекрасно объяснил. Ведь немцы устроили после побега этого лейтенанта грандиозные облавы. Начальника тюрьмы отправили на Восточный фронт! Они обеспокоены возможной утечкой информации. И за граница сообщала... К нам попали сведения, подтверждающие факт измены, а генерал Рокоссовский уже был однажды за это осужден. Или осмелитесь утверждать, что его оболгали, зря арестовали перед войной? Молчите?!

– Он желает поскорее сделать нам нового Власова, – бросил Лаврентий Берия, обращаясь к Сталину, и безошибочно почувствовав, что тот еще не принял окончательного решения, не занес подозреваемого генерала в мысленный список *личных* врагов, подлежащих немедленному уничтожению.

Лаврентий Павлович понял: сейчас надо давить, убеждать, чтобы купировать порожденную проклятым Ермако-

вым нерешительность. Зачем он только притащил сюда этого чистоплюя?! Хотел, видите ли, чтобы говорил человек признанной честности, ни разу не оступившийся? Тогда его слова, а они зачастую так много значили для товарища Сталина, приобрели бы еще больший вес, легли тяжкими гириями на чашу весов, должных склониться в пользу наркома. Надо найти и свои слова – ведь находил же он их раньше для вождя, чутко оценивающего все произнесенное и написанное еще со времен обучения в духовной семинарии.

Алексей Емельянович стоял ни жив ни мертв – удар Берии, напомнившего Сталину о Власове, был страшен. Все может оказаться напрасным – риск, убежденность в собственной правоте, заранее заготовленный и положенный в папку рапорт, который он намеревался лично подать в руки Верховного, если не дадут слова.

Выйдя из кабинета Верховного, генерал мог сразу же оказаться под арестом, но он знал, на что идет, решив выполнить долг до конца, как выполняли его многие военные прокуроры и чекисты, отказавшиеся санкционировать аресты и участвовать в них в середине тридцатых годов.

Власов... Работая советником у Чан Кайши, он помог тому собрать компрометирующие материалы на соперников, за что получил благодарность и орден Золотого Дракона. После этого Власова исключили из партии товарищи по группе советников, но далеко от Китая, в столице, нашлись доброхоты и спешно замяли кляузное дело.

По возвращении на родину из Китая Власов был направлен инспектировать 99-ю пограничную дивизию и, к своему удивлению, обнаружил, что она прекрасно подготовлена. Мучительные раздумья, как поступить, закончились тем, что он подал по команде рапорт на командира дивизии, прямо обвинив его в слепом копировании тактики германских вооруженных сил. Комдива вскоре взяли под арест, а проверяющий сумел занять его место и по прошествии некоторого времени пригласил в свою дивизию заместителя наркома обороны маршала Тимошенко и ловко продемонстрировал ему все, сделанное прежним командиром. Тимошенко остался весьма доволен, а Власов получил звание генерал-майора и орден Красного Знамени.

Новоиспеченного генерал-майора вызвали в Генштаб к Мерецкову для доклада и назначили командиром вооруженного новыми танками четвертого мехкорпуса.

Когда началась война, Власов жутко опозорился под Львовом – растянувшаяся более чем на полтора десятка километров колонна мехкорпуса, следовавшего в походных порядках, была перехвачена немцами, и командир, отдав приказ уйти с шоссе, утопил технику в болотах. Но все те же доброты вновь спасли его, выгодно преподнеся Верховному то, что генерал вывел из окружения бойцов. Последовала благодарность и новое, высокое назначение – в Киевский укрепрайон, командующим 37-й армией.

Как раз в то время случилась серьезная размолвка меж-

ду Сталиным, требовавшим во что бы то ни стало удержать Киев, и Жуковым, убеждавшим Верховного немедленно спасать фронт за Днепром.

«Странно переплетаются людские судьбы, – подумал Ермаков. – В двадцать седьмом году Жуков служил командиром полка в Седьмой Самарской кавалерийской дивизии имени Английского пролетариата, а командовал ей Рокоссовский, над которым сейчас нависло страшное обвинение в измене. Жуков теперь заместитель Верховного, а его бывший командир, которому не дано было, как Георгию Константиновичу, спасти себя от ареста победой на Халхин-Голе, командует одним из фронтов. Встречаясь, наверное, вспоминают те дни...»

Власов торжественно пообещал Сталину удержать Киев и сидел в укрепрайоне до тех пор, пока не оказался в глубоком тылу немцев. Самого командующего бойцы несли больным пятьсот километров и вышли к своим только у Курска.

Чекисты сразу же серьезно заинтересовались подробностями этого беспримерного марша и выяснили, что Власова выводил из окружения не кто иной, как его адъютант – бывший лейтенант германского генерального штаба Ренк!

Об этом доложили уже тогда известному партийному функционеру, члену Военного совета Никите Сергеевичу Хрущеву, а тот, в свою очередь, товарищу Сталину. Но вождь не поверил! А не поверив, назначил Власова, помня его личную преданность, командующим 20-й армией.

Зимой сорок первого она освободила подмосковный Солнечногорск. О Власове стали писать газеты, а он в ответ всюду славил вождя – товарища Сталина, что отмечали даже издавшие виды французские журналисты.

В начале марта сорок второго года рослый, широконосый, очкастый Власов прибыл вместе с маршалом Ворошиловым и командующим Военно-воздушными силами Новиковым на Волховский фронт, где занял должность заместителя командующего фронтом Мерецкова.

«Товарищ Сталин вновь оказал мне свое доверие...» – к месту и не к месту повторял Власов, получивший за освобождение Солнечногорска звание генерал-лейтенанта и второй орден Красного Знамени. Мечтая занять место Мерецкова, он хотел успешно развить наступление на Любань, чтобы одним ударом освободить Мясной Бор и Красную Горку.

Однако, погубив 2-ю ударную армию, но не добившись успеха, Власов сдался немцам, предал, сбежал к ним и слезливо рассказывал фашистскому генералу Линдеману о своем отце, церковном старосте села Ломакино на Волге – кулаке и эсере...

Да, напоминание о Власове – страшный удар, но, упрямо наклонив голову, Ермаков четко повторил:

– Нельзя обвинить командующего фронтом в измене, не проведя доскональной проверки.

Сталин повернул голову и бросил на него через плечо острый испытующий взгляд.

– Сколько вы еще намерены проверять? – буркнул он, окутываясь облаком дыма. – Или чекисты полагают, что немцы подождут результатов проверки и перестанут атаковать?

– Коба, – обратился к нему по старой партийной кличке молчавший до того Клим Ворошилов. – Может, действительно, стоит все проверить еще раз?

– Маршал прав, – почувствовав перемену в настроении Сталина, тут же, словно флюгер, сориентировался Лазарь Каганович. – Сколько вам надо времени?

– Как минимум тридцать суток, – глядя в спину отвернувшегося к окну вождя, ответил генерал. Неужели он выиграет эту битву нервов?

Сталин отошел от окна, вновь начал мерить шагами ковровую дорожку. Все напряженно молчали, ожидая его решения.

Ворошилов опять устался в стол; Берия язвительно улыбался, хищно сузив глаза. Он достал из кармана белоснежный платок и начал неторопливо протирать стекла пенсне.

– Это хорошо, что генерал Ермаков не хочет обвинить командующего фронтом Рокоссовского в измене на основе только тех фактов, которыми сейчас располагает, – остановившись, со скрытой угрозой сказал Сталин. – Но тридцать суток много, особенно во время *такой* войны. Пусть генерал Ермаков подумает, как ему ответить нам на вопрос об *измене* до истечения этого срока. Или, в крайнем случае, никак

не позже него. Ответить точно и определенно. А потом мы решим вопрос в рабочем порядке.

Алексей Емельявович тайком перевел дух – у него есть целый месяц, и пока он не кончится, даже сам всемогущий нарком, опасаясь гнева вождя, ничего не сделает ни с командующим, ни с ним, Ермаковым.

Ворошилов поднял свое розовое лицо и улыбнулся – гроза миновала, товарищ Сталин неожиданно принял решение, которого трудно было от него ожидать.

Каганович вертел пуговицу на пиджаке, как будто намеревался вырвать ее «с мясом», безжалостно разорвав ткань. Берия снова подравнял листки и сложил их в папку. Молотов надел пенсне и с интересом взглянул на все так же стоявшего у торца стола по стойке «смирно» генерала...

* * *

Дождевые капли, как слезы, скользили по оконным стеклам, забранным в частые переплеты, оставляя за собой мутноватые сырые дорожки, которые тут же зализывали другие капли, а за ними следующие, погоняемые дико свистящей плетью невесть откуда прилетевшего холодного северного ветра. Еще вчера было так тепло, нежно зеленел молодой листвой парк, купавшийся в лучах долгожданного яркого солнца, синело небо, маня своей бездонной глубиной. Щебетали птицы, славя весну, катящее во всю прыть на сы-

тых рыжих конях лето и приманивая своим пением пернатых подруг, обещая им уютное гнездо в ветвях и хорошее потомство.

А сегодня словно опять вернулась осень – мозглая, ветреная, – и задернула горизонт серой кисеей обложного дождя. Хорошо, что есть камин и в нем весело пылают поленья, давая ровный жар, наполняя комнату ни с чем не сравнимым ароматом настоящего огня, – живого, играющего, то поднимающего свои языки к закопченному своду камина, то опадающего и прячущегося в углях, подернутых сизым налетом пепла. Паровое отопление никогда не дает такого ощущения уюта и тепла, как живой огонь в камине, а люди, к сожалению, уже начинают забывать прелесть потрескивания сухих дров и отвыкают мечтать, глядя на языки пламени. Может быть, поэтому век электричества столь беден учеными-энциклопедистами и гениальными художниками?

Бергер зябко передернул плечами и перевел взгляд с мокнувших под дождем деревьев парка на темные фигурки саперов, лениво орудующих лопатами – на блестящие штыки лопат налипала сырая земля, и солдаты натужно напрягали спины, выбрасывая ее из траншеи.

– Вы упорны, Конрад, – не оборачиваясь, бросил оберфюрер, наблюдая за саперами.

– Я ваш ученик, – откликнулся фон Бютцов, сидевший у стола с чашкой кофе.

Бледная улыбка тронула губы Бергера – мальчишка

льстит, придерживаясь старой восточной поговорки: лезть никогда не бывает грубой. Наверное, хитрые восточные люди в чем-то правы, поскольку именно они довели искусство лести до утонченного искусства, и они же низвели его до совершенно непотребного низменного уровня, совершенно перестав заботиться хотя бы о малейшем камуфляже, но действуя прямо в лоб, пуская лезть в ход, как таран. Однако лезть всегда признак заискивания, свидетельствующий о том, что в тебе весьма нуждаются.

– Мне хотелось бы увидеть, какой клад они выроют? – с легким сарказмом заметил оберфюрер. – Вдруг найдется нечто стоящее?

Конрад промолчал, и Бергер подумал, что некоторые вещи из числа обнаруженных в замке вполне могли осесть в родовом имени Бютцовых. Стоило проверить эту догадку – потихонечку, ненавязчиво, но и не затягивая: в случае удачи появится еще один крючок, на который можно подцепить своего родственника и ученика, если тот вдруг заартачится – казна рейха, рейхсмаршал Геринг и прочие бонзы, прозванные «золотыми фазанами», сами любят собирать роскошные коллекции и за присвоение найденного не помилуют. Вот и пугало для строптивца!

– Мы доверили слишком важную информацию воле случая, – поставив чашку на край стола, тихо сказал Конрад. – Возможно, вы немного поторопились, изменив план операции в ту жуткую ночь?

Бергер, не отвечая, продолжал глядеть за окно на поникшие деревья. Уставясь в его равнодушную спину, Бютцов продолжил:

– Где бежавший смертник? Он мог утонуть в болотах, мог добраться до какой-нибудь неизвестной нам лесной банды и остаться с ними, мог поймать шальную пулю и унести в небытие тайну, которой овладел.

Оберфюрер отошел от высокого окна, взял кочергу и поворошил ей угли в камине. Конрад волнуется, часто заводит подобные разговоры – душа не на месте, мозг лихорадочно ищет выхода из создавшейся ситуации и жаждет успокоения. Нельзя давать перегореть волнениям, надо поддержать его, одновременно показав свое превосходство.

– Даже неудачи стоит научиться превращать в победы, – назидательно произнес Бергер. – Но я не стану вас мучить. Ночью звонил группенфюрер Этнер.

Увидев, как Бютцов подался вперед, ожидая продолжения, оберфюрер внутренне усмехнулся – не терпится, знает, что после окончания операции начнется работа по его переводу на Запад. Он уже сроднился с этой мыслью, предвкушает все возможные блага и хочет поторопить время, людей и события. Ладно, так уж и быть.

– Есть проверенные сведения о переходе Грачевым линии фронта, – опуская горячую кочергу в кольцо подставки около камина, сообщил Бергер. – Наша разведка располагает данными о прибытии новых офицеров НКВД в штаб известно-

го нам командующего фронтом. Они знают, они начали действовать, и тайна больше не принадлежит нам. И все же мне жаль русского генерала. Как его там, Константин Ксавериевич? Талантливый человек, весьма талантливый. Сталин сомнет его, как ненужную бумажку, и зажжет, чтобы в очередной раз раскурить свою знаменитую трубку, а потом бросит за ненадобностью. Пройдет много лет, пока там во всем разберутся... Кстати, русский генерал действительно поляк?

– Да, – Бютцов задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, переваривая услышанное.

Есть о чем подумать, черт побери! Похоже, учитель опять ловко вывернулся, словно ему помогает сам дьявол, которому он запродавал душу из своего тощего тела. Иезуит от разведки, да и только.

– Как Сталин и другие высокопоставленные большевики доверили ему армию? – садясь напротив Конрада, усмехнулся Бергер. – С их-то подозрительностью ко всему польскому? Один наш агент, работавший в Советской России, рассказывал мне, что в тридцатые годы поляк вообще считался у Советов «подрасстрельной» национальностью.

– Генерал выдвинулся во времена интернационализма, – пояснил Бютцов. – Дзержинский тоже был поляк, из имени Дзержинова, расположенного примерно в полутора сотнях километров от Минска. Бывший глава русской контрразведки Артузов – сын швейцарского сыродела. А наш генерал – сын польского железнодорожника. Его заставили сменить

отчество и назваться Константином Константиновичем, якобы для того, чтобы проще стало обращаться подчиненным. А талант? Наверное... И все же перед войной его арестовали. Тем сильнее теперь окажется к нему недоверие Сталина и его ближайшего окружения. Но я не понимаю, почему вам жаль русского генерала?

Бергер налил себе кофе, поднес чашку к губам и сделал маленький глоток, смакуя ароматный напиток. Добавил сахара, снова попробовал и, удовлетворенно кивнув, ответил:

– Я приближаюсь к старости, дорогой Конрад. В этом возрасте остается только два самых сильных врага: крепкое вино и молодые женщины. Вот так! Выдвигаясь в момент национальной терпимости у Сталина, наш подопечный генерал вряд ли думал о том, что дозволенное и даже поощряемое сегодня завтра может стать преступлением. Где сейчас Артузов, где руководитель венгерской революции Бела Кун, где Уборевич, Тухачевский, Якир, Путва? Где другие? Они тоже несомненно были талантливы, и мне просто по-человечески их жаль, как поверженного противника. Все они расстреляны. Видимо, подобная судьба ждет и нашего генерала и, вполне возможно, не только его одного. Сами русские для меня давно стали просто противником, я не испытываю к ним ненависти, я ненавижу их коммунистические еврейские идеи! И если эти идеи исповедует кто угодно, будь он даже малайцем или папуасом, он тоже неминуемо, просто автоматически, станет моим противником, которого надо безжа-

лостно уничтожить. Речь идет о судьбах цивилизации, а на земле нет места коммунизму и национал-социализму вместе. Должно остаться что-то одно, и если мы проиграем сейчас, надо начать снова и снова!

Он замолчал, прихлебывая из чашки кофе. Идеи помогали, нет слов, но всходить за них на костер, как Джордано Бруно, просто глупо. Лучше как Галилей – отказаться и снова за свое, придав лицу благообразно-постное выражение рассказавшегося грешника и глубоко внутрь запрятав свои убеждения. Но зачем сейчас говорить об этом? Конрад и сам многое понимает, слава Господу, не первый день в службе безопасности, и не надо ему рассказывать слюнявые сказочки. Тем более здесь нет чужих ушей, для которых стоило притворно сокрушаться о потере ценного агента среди красных генералов. Бютцов сам разрабатывал операцию «Севильский цирюльник» и взял за ее основу уже испытанный ранее ход и знаменитую арию Дона Базилио о клевете. Как там – «ветерочком, чуть порхая»? В данном случае посеяли не ветерочек...

– Готовьте бумаги, – рассматривая, как оракул или гадалка, оставшуюся на дне чашки кофейную гущу, приказал Бергер. – Подробный доклад о завершении первой фазы операции. В момент усиленной подготовки к битве под Курском и Орлом служба безопасности рейха внесла свой вклад в грядущую победу. Примерно так. И начнем готовиться ко второй фазе. Полагаю, ответный ход не заставит себя ждать.

– Мы готовы, – поняв его, засмеялся Конрад. – Что еще сообщил группенфюрер? Есть новости?

С сожалением отставив чашку – весьма заманчиво было бы узнать будущее, гадая на кофейной гуще, но что не дано, то не дано, – оберфюрер желчно усмехнулся:

– Новости? Болтал без умолку. У него явно хорошее настроение, а возможно, он просто сбивал с толку болванов, подслушивающих на линии. Рассказывал о новых слухах про «Белую даму».

Конрад насмешливо присвистнул. Похоже, это уже не любимая рейхсминистром Геббельсом «флюстерпропаганда», когда шепотком, чтобы казалось более правдоподобно, распространялись выгодные руководству рейха положительные слухи о чудо-оружии или благоприятных знамениях.

Про знаменитую «Белую даму» в Восточной и Средней Германии начали рассказывать очень давно, еще в Средние века. Якобы дожив до сорока лет и овдовев, некая Доротея из Пруссии удалилась от мирских соблазнов в монастырь и там, в тихой обители, замаливала свои многочисленные грехи, посвятив остаток жизни служению Богу. Монастырь она выбрала в Мариенвердере, недалеко от собора.

Вступив в обитель, Доротея заняла отдельную келью и попросила замуровать ее вход, что и было с благоговением исполнено. После четырнадцати лет добровольного заточения неистовая монашка скончалась. В 1414 году, уже после смерти Доротеи, папе римскому подали просьбу о причислении

ее к лику святых.

Однако просители выбрали весьма неудачное время для обращения в Рим: церковь была в расколе и на престоле святого Петра числились его наместниками на земле сразу несколько римских пап, каждый из которых рьяно отстаивал свои права. Поэтому на униженную просьбу паствы из германских земель никто из них просто не обратил никакого внимания – у римских пап имелись дела поважнее: по Европе бродила черная смута, полыхали войны, гремели тугие барабаны и ревели звонкие трубы, скакали конные, размахивая острыми клинками, неустанно бранились многочисленные папы. А тут – усопшая Доротея из Германии. Ну и что?

Небрежение римских пап к просьбам паствы возымело своеобразное действие: в народе сложилось твердое мнение, что обиженная невниманием людей святая отшельница получила свыше право стать предвестницей жутких несчастий и появляться в белом одеянии, предвещая политические катаклизмы. К «Белой даме» позже обращались историки. Конарад читал, что ряд из них считали Доротею женой так называемого Великого курфюрста Бранденбурга. На одной из старинных гравюр ее изображали идущей в белом одеянии за гробом своего мужа, умершего в конце семнадцатого века, а именно в 1688 году! Однако, по другим источникам, появление «Белой дамы» отмечалось много раньше – в 1468 году в Плассенбурге близ Байрёйта.

Другие историки пытались связать «Белую даму» с име-

нем графини Д'Орламюнд, жившей в XIV веке в окрестностях Байрёйта, якобы убившей своих детей и покончившей с собой из-за того, что ее любовник – родственник правившего монарха, – отказался встать с ней под венец. В 1799 году «Белая дама» неожиданно появлялась ночью перед солдатом-часовым у королевского дворца в Берлине. На призраке отливало перламутром драгоценное жемчужное ожерелье, а в руках «дама» держала длинный резной посох из слоновой кости.

Знаменитый призрак видел и сам император Наполеон, когда останавливался в Байрёйте перед походом на Россию, оказавшимся для него роковым. Молва твердила, что «Белая дама» неизменно появлялась во дворце перед кончиной королей из династии Гогенцоллернов. Очевидцы утверждали, что видели ее в 1840 году, накануне смерти Фридриха-Вильгельма III, и в 1861 году, перед кончиной Фридриха-Вильгельма IV.

И вот теперь, накануне решающего или одного из самых решающих сражений гигантской войны, вновь зашептались о привидении, приносящем несчастье Германии. Откуда пополз этот слух, кто его распускал и почему о нем говорит не кто иной, как группенфюрер Этнер из СД? Неужели английская разведка или русские взяли на вооружение метод распространения панических слухов с потусторонним душком? До того ли им – хватает более важных, реальных, а не спиритических, военных забот.

– Зря свистите, – брезгливо оттопырил губу Бергер. – Я более чем уверен, что в секретном штабе гестапо на Кёнигсallee II в Грюнвальде берлинские костоломы мучают свои мозги в поисках разгадки. Но почему об этом столь долго болтал Этнер? Я хотел улететь на несколько дней в Сопот, немного отдохнуть, но он отказал. Поэтому готовьте бумаги для Берлина, Конрад. Все неспроста.

В Сопоте Бютцов бывал: в тридцать девятом там располагался в Гранд-отеле полевой штаб фюрера, а потом Геринг устроил в этом здании офицерское казино для летчиков люфтваффе. Зачем Бергер хотел отправиться именно в Сопот? Не для того ли, чтобы встретиться с человеком, служащим ему почтовым ящиком, неким живым конвертом для вложения писем, должных попасть за границы рейха в нейтральные страны и продолжить оттуда путь за океан?

Спрашивать бесполезно: старый лис все одно ничего не скажет, а только насторожится. К чему его настораживать: связь с другим берегом океана интересна им обоим, и не стоит проявлять ненужной торопливости и презируемого оберфюрером пустого любопытства.

– Еще кофе? – предложил Бютцов, думая, как бы скорее закончить здесь все дела и получить перевод куда-нибудь во Францию или даже в Италию, пусть там и назревают неприятные события. Дрова в камине почти прогорели, дождь зарядил с новой силой, кончался завтрак, и впереди ждал полный хлопот день.

– Не надо, – отодвинул чашку Бергер. На его пальце тускло блеснуло подаренное рейхсфюрером Гиммлером платиновое кольцо с мертвой головой. – Готовьте бумаги и потом принесете их мне. Наш перебежчик явно на той стороне, и он не молчит. Бедный красный генерал...

– Я полагаю, надо подготовить «Фройляйн»? – вставая, поинтересовался Конрад.

– Она разве еще не готова? – удивленно поглядел на него Бергер.

– Я имею в виду к началу действий, – чуть склонив голову, уточнил штурмбаннфюрер.

– Да, пожалуй, – пригладив ладонью волосы, согласился оберфюрер. – Вызовите ко мне начальника СС и полиции. Необходимо обговорить некоторые детали легализации «Фройляйн», и займитесь бумагами. Остальные люди на местах?

– Да, патрон, – безошибочно почувствовав, как его учитель повеселел, шутливо поклонился Бютцов.

– Ладно, – слегка потрепал его по плечу оберфюрер, – не сердись на старика, бывает, и поворчу. Иди, работай, у нас много дел, а жизнь коротка, мой мальчик.

Выходя, Конрад подумал, что раньше он не замечал за учителем склонности к признанию себя стариком – у него дети чуть ли не младенческого возраста и самому ему едва за пятьдесят. Очередная превентивная акция – представить себя в глазах окружающих стареющим и немощным челове-

ком? Зачем?

Он ничего не делает зря. Хочет заранее списать на старческое слабоумие возможные провалы? Никто не поверит. Задумал вырваться со службы под предлогом пошатнувшегося здоровья? Чушь, он никогда не захочет расстаться с мундиром, дающим ему и власть, и гигантские возможности. Зачем тогда?

Над этим стоило поразмыслить на досуге, временно отложив слова шефа на полку в дальнем уголке памяти.

Уже взявшись за ручку двери кабинета оберфюрера, Бютцов вдруг понял – попытки поехать в Сопот, жалобы на здоровье, ночные разговоры с Этнером, – все для того, чтобы получить отпуск для лечения, возможно, с выездом в нейтральную страну.

Старик не чудил – он методично делал свое дело. Вернее, их общее дело переориентации на *Запад*... Оберфюрер – тонкий, расчетливый игрок, и он продолжал играть даже здесь, перед своим учеником, желая перестраховаться. Что же, придется пойти навстречу и подыграть.

* * *

Антон проснулся, когда было еще совсем темно. За окном висела яркая луна, и ее свет ложился на пол комнаты, на жалкую мебель, на постель, окрашивая их в призрачные голубовато-зеленые тона, словно заставляя слабо фосфорес-

цировать белизну наволочки, край простыни, скатерть на узком столе в углу и спинки стульев с небрежно брошенной на них одеждой.

По улицам вовсю гулял разбойный ветер и раскачивал ветви все еще скованных стужей деревьев – весна сильно задерживалась в этих краях, и не скоро запахнет клейкими тополиными почками, наконец дождавшимися тепла. Снег съезжился, слежался, покрылся коркой скользкой, шершавой наледи, но не сходил, упрямо не уступая солнцу, а терпеливо ожидал наступления ночи, с которой приходили живительная для него темнота и ветер, пригоняющий тяжелые тучи, полные мелких резных снежинок. А в Москве, наверное, давно сухие тротуары, люди сняли надоевшие за зиму пальто и жадно ловят ласковое солнце, подставляя ему бледные лица.

Резкий порыв ветра ударил по стеклам, качнулись ветки, перечеркнув тенями свет луны. Слабо треснув, сломался тонкий сучок и повис, удержавшись на ленточке коры; покачался, словно прощаясь с улетевшим ветром, потом затих, оставив свою тень на молочно-белом плече уткнувшей нос в подушку Антонины.

Скосив глаза, Волков поглядел на нее, боясь разбудить пристальным взглядом – часто человек просыпается, почувствовав, как на него смотрят. Разметались пышные волосы, по-детски полуоткрыты пухлые губы и видно ровную полоску зубов, вздрагивают чуткие ресницы – что ей снится в эту

ночь, когда она уже под утро, утомленная неизведанной ранее близостью с мужчиной, забылась во сне, доверчиво обняв его своей тонкой рукой?

Как все получилось, теперь даже трудно понять. Квартирная хозяйка отсутствовала, они пили чай на кухне, разговаривали, чувствуя, что произносимые ими слова ничего не значат, что между ними идет другой, совершенно немой разговор, и он связывал их, как тугая, незримая нить, и каждый с легким замиранием сердца легонько трогал ее, ожидая ответного прикосновения – робкого, ласкового, наполняющего душу теплом и радостью.

И все забыто, похоронено незнамо где – жизненный опыт, бушующая на земле война, пожинаяющая свою кровавую жатву, требующая все большей больше крови: молодой, старой, юной, крови гениев и дураков, одинаково ставших пушечным мясом. Нет больше разницы в возрасте, нет Кривошеина и лежащего в госпитале с простреленной грудью немецкого агента, нет торопливого стука морзянок в эфире, нет бомбежек, днем и ночью горящего в печах заводов огня, плавящего броневую сталь – есть только незримая нить, связавшая двоих. Смерти просто, она приходит на готовое, на уже созданное жизнью, и без труда находит свою страшную работу, являясь самым жутким паразитом и нахлебником всего сущего – живого и неживого, потому что неживое в природе тоже умирает. Рушатся и выветриваются горы, высыхают реки, сдвигаются материка, уходят под пески и на дно морей

построенные человеком города, а жизнь, готовясь продлить род человеческий, пробирается с трудом, лишь ощупью нанося дорожку к сердцам двоих.

Не совладав с собой, Тоня заплакала и рассказала, что Первухин все же настоял на ее увольнении. С трудом, великим трудом, ей удалось временно устроиться в госпиталь санитаркой – все так равнодушны в этом забитом эвакуированными городе к чужой судьбе, а деньги сейчас ничего не стоят, поскольку на них нельзя купить хлеба, обуться, одеться, получить кров над головой.

Антон начал ее утешать, гладил, как ребенка, по голове, говорил какие-то путанные слова, ощущая, как через ладонь, касавшуюся ее волос, его словно бьет током, пронизывая все тело. Пальцы мелко вздрагивали, ноздри чутко ловили ее запах, – ни с чем не сравнимый запах молодого, чистого девичьего тела, вымытых с травами волос, источавших аромат придорожного донника. Взяв в ладони ее лицо – заплаканное, с припухшими глазами, – он начал целовать его, ловя скатывающиеся с ресниц слезинки, осторожно слизывая их соленое тепло, прижимался губами к ее пылающим щекам, маленьким ушам, высокому прохладному лбу. Поцеловав ее в губы, он отстранено отметил, что она совсем не умеет целоваться, и тут же жаркая волна обдала его, затуманив мозг – не в силах более противиться охватившему его чувству, он подхватил Тоню на руки, удивившись, какая она оказалась легкая, как перышко, и понес в комнату...

– Что ты наделал, – мягко, без укора, прошептала она. – Как я теперь буду здесь одна? Ведь ты уедешь?

– Вернись, – погладив ее по вздрагивающему плечу и наслаждаясь его шелковистой кожей, уверенно пообещал он. – Вернись и заберу тебя с собой.

В тот момент Волкову казалось все простым и осуществимым. Какое значение имели теперь подозрительный Первухин и увольнение с оборонного завода, когда рядом она – только его, долгожданная, родная.

– Обещаешь, как речка берегу, – улыбнулась Тоня в темноте, – и сам знаешь, что не выполнишь этого никогда. Уплывешь, как вода к морю... Но я не жалею, ты не думай, я сама так решила, просто ты опередил меня...

Сейчас, глядя на нее, Антон вдруг подумал, что все будет как раз весьма непросто – это только у Александра Блока впереди революционного отряда шагал всепрощающий Иисус Христос, как символ терпимости, грядущего всеобщего братства и избавления страждущих, а потом родилась тупая, страшная в своем идиотизме, жестоком и всепоглощающем, превращающем человека в бессловесный скотский винтик, дикая ненависть и непримиримость к *своим*.

Христа больше уже не видно – впереди неумоимо шагали многоликие Первухины, сжав в потной ладони рукояти вороненых «ТТ» и сторожко оглядываясь на узкие взблески жал штыков за своими спинами.

Оставалось уповать на помощь Ермакова – он не отка-

жет в защите сироте, бедной полудевочке-полуребенку, ставшей в эту ночь женщиной и, надо полагать, женой Волкова – пусть не венчанной, не расписанной, но готовой делить с ним все, что выпадет на долю в судьбе. Он чувствовал – она никогда не предаст, ни при каких обстоятельствах. Не может его обмануть знание жизни и людей, а если и Тоня обманет, то кому же тогда остается верить?

Осторожно сняв со своей груди ее невесомую руку, он потянулся к гимнастерке. Ощупью нашел в кармане папиросы, закурил. При свете спички увидел ее светленький полотняный бюстгальтер – чистенький, аккуратно заштопанный белыми ниточками, и это больно резануло по сердцу острой жалостью: как, действительно, она тут будет бедовать без него?

Попытаться отправить ее к матери? Мама поймет и не осудит, простит их обоих и примет Тоню в семью. Вместе им будет легче. Но как отправить? Нужны документы, разрешение, выправленные по всем правилам сурового военного времени бумаги. А кто она ему сейчас для любого канцеляриста?

Мама поймет, она всегда все понимала, как и бабушка Марта. Именно ей Антон обязан прекрасным знанием немецкого и французского, к которым потом прибавились польский и английский. Деда Антона по линии матери за буйный характер сослали в Сибирь, оттуда он бежал, добрался аж до Китая, а потом, нанявшись на английский торговый

пароход, приплыл в Европу.

Дед был мужчиной сильным и рисковым, искал, где лучше, и занесло его в Эльзас, на шахты. Там он и познакомился со своей будущей женой – Мартой, дочерью немецкого шахтера и француженки. Свадьбы у них тоже не было – отец Марты не хотел отдавать дочь русскому голодранцу, живущему как перекати-поле. Тогда дед украл невесту и уехал. Вернулись в Россию, родилась дочь, выросла, познакомилась с бравым военным фельдшером Иваном Волковым и вышла за него замуж. В шестнадцатом году Иван вернулся с фронта и обнял тещу, жену и сына единственной рукой – вторую оставил за царя и отечество. Было тогда Антону двенадцать лет.

О смерти отца он узнал перед войной, в Париже. На бульварах медленно падали листья со знаменитых старых каштанов, пожелтевших от жары и засухи августа тридцать девятого, звонко кричали мальчишки, разносившие свежие газеты, во весь голос сообщая прохожим о неудачных переговорах в Москве и заключении договора между Германией и большевиками, пронзительно сивело небо над Тур-д-Эффель, равнодушно-медленно текла в каменных берегах Сена, и надо было работать и жить дальше, а его начало, его отец, как оказалось, уже полгода назад засыпан желтой глинистой землей на старом московском кладбище. А сын узнал об этом только шесть месяцев спустя, в далеком и чужом городе.

В тот день Волков пошел в дешевый кабак, где собирались

шоферы парижских такси и проститутки, мелкие шулеры и конторщики, уставшие за день зеленщики и дорожные рабочие. Заказал большую бутылку терпкого красного вина и пил его стакан за стаканом – не хмелея и не слыша разговоров вокруг, не замечая висящего пластами синего дыма дешевых сигарет и не обращая внимания на мелодии, исполняемые слепым аккордеонистом-инвалидом.

Перед глазами проплывали картины детства – не то чтобы как в кинематографе, а какими-то отрывками, неожиданно вырванными и поданными памятью без всякой связи одного с другим. То виделась бабушка Марта – старенькая, в круглых очках, втолковывавшая ему правила немецкой грамматики и нараспев читавшая французские стихи, то появлялся перед мысленным взором отец, ласково шутившийся сквозь дым своей неизменной папиросы, то мать, помогавшая мужу заправить в карман дешевого темного пиджака пустой рукав, то тетка, хлопотавшая на кухне.

Все они страстно желали видеть Антона врачом, но судьба распорядилась иначе.

Незаметно подошла и устроилась за его столом молоденькая проститутка из второго поколения эмигрантов, с красивым кукольным лицом, изуродованным неумело наложенной косметикой. Молча подставила свой стакан, и он так же молча наполнил его. Выпив, она взяла его ладонь и провела ей по своей нежной щеке.

– Не надо, – отнимая руку, попросил Антон. – Ничего не

надо. Хочешь выпить, пей и молчи.

– О, свои! – покачиваясь, подошел усатый шофер, пьяно раскланялся. – Ротмистр Ганцов. Где изволили служить? Или, по молодости лет, не успели?

– Донской кадетский корпус в Югославии, – нехотя процедил Антон.

– За кавалерию! За русскую кавалерию! – приказав гарсону подать еще одну бутылку, громко провозгласил ротмистр. Потом едва удалось отделаться от этой парочки, пытавшейся вместе сколотить состояние на обирании подваливших клиентов.

С тяжелой головой шагал Волков по темным улицам, сам не зная, куда он бредет. Мрачными громадами поднимались дома предместья, подозрительно косились на него ажаны в коротких накидках, провожали пустыми, давно потухшими взглядами ночевавшие под мостами клошары – последняя ступень лестницы в иерархии парижских нищих и бродяг. Хотелось плакать, но не было слез.

Позже он оставил Париж, чтобы по приказу Центра отправиться в оккупированную Польшу для установления связи с полковником Марчевским. Но до того произошло еще множество событий, а уезжая, он не знал, что его ждет впереди.

А что ждет сейчас – нежданная находка, как говаривала мать, «нечаянная радость» обретения близкой, родной души и тут же потеря ее? Где он потом станет искать Тоню? Нет, никак нельзя допустить, чтобы они растерялись в сумасшед-

шей круговерти войны.

Потушив папиросу, он прислушался – хлопнула входная дверь, прошаркали шаги, завозилась за тонкой перегородкой вернувшаяся хозяйка. Только бы она не постучалась к нему или сюда. Конечно, они все взрослые люди, отвечающие за свои поступки, но очень неудобно, если она обнаружит его здесь, у Тони, да еще в таком виде.

На счастье, хозяйка повозилась и улеглась спать – было слышно, как скрипнули под тяжестью ее тела пружины матраса. Повертевшись немного с боку на бок, она притихла, видимо, заснула.

За окнами начало сереть, спряталась луна, резче обозначились на фоне посветлевшего неба очертания голых деревьев, исчез призрачно-колдовской свет, уступая место блеклому рассвету. Наступает новый день, и он встретит его уже не так, как вчерашний: теперь на нем ответственность и за судьбу ставшей ему близкой маленькой женщины, тихо спящей рядом. Чего уж, если так случилось, лицемерить перед самим собой – ведь он желал этого.

Почувствовав, что Тоня проснулась, он повернул голову и встретился с ней глазами. Она улыбнулась.

– Тихо, – приложил ей палец к теплым губам Антон. – Хозяйка вернулась, а мне надо собираться.

– Ты правда уедешь? – свистящим шепотом, спросила она.

– Правда, – вздохнул Волков и тут же поспешил ее успокоить, – только не знаю когда.

На улице профырчала мотором машина, хлопнула дверца.

Быстро вскочив, Антон схватил свои вещи в охапку и, то-ропливо поцеловав Тоню, на цыпочках выскочил в коридор, метнувшись к дверям своей комнаты. Оглянувшись, увидел, – стоя на пороге, на него смотрела квартирная хозяйка.

– Доброе утро, – жалко улыбнулся он и шмыгнул за дверь, чувствуя, как сверлит его спину чужой взгляд, иронично насмешливый и презрительный одновременно.

«Ну и черт с ней, – подумал Волков, натягивая сапоги, – сегодня же пойдем в загс и распишемся. Плевать на все! Не отдадут же меня под суд! Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут...»

В дверь постучали. Открыв ее, он увидел одного из сотрудников отдела Кривошеина.

– Раненый пришел в себя, – зябко потирая руки, вместо приветствия сообщил тот. – Сергей Иванович уже там.

– Едем, – затягивая пояс, засуетился Антон.

– Да нет, – усмехнулся гость, – нам на аэродром. Ночью из Москвы пришло распоряжение за подписью заместителя наркома. Приказано вам срочно вернуться. Так что собирайтесь.

– Счас, – бросил Волков и, не обращая внимания на стоявшую в прихожей квартирную хозяйку, рванул за ручку дверь комнаты Тони.

Она оказалась запертой.

На Лубянке Семену каждую ночь снились жуткие сны – то он видел себя перебирающимся по тонкому, подточенному половодьем льду, сжимая в руках выломанную на берегу слегу; то наваливалась душная темнота подпола в деревне и явственно чудился запах гниловатой картошки и соленых огурцов-желтяков, которыми впору заряжать пушки для стрельбы по немецким танкам; то вдруг выплывало из тумана и приближалось к нему лицо сумасшедшей, грязной, расхристанной бабы, встреченной в одной из сожженных деревень, когда он добирался к линии фронта. Женщина тянула к Семену скрюченные пальцы, намереваясь схватить и, нехорошо улыбаясь голубым, запавшим ртом, требовала: «Люби меня, люби!»

А то раз привязалась во сне мелодия танго «Люблю» в исполнении Георгия Виноградова – эту пластинку часто крутили на заставе до войны: «Вам возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю».

Глупо и страшно, просыпаясь, слышать эту мелодию, как отзвук давно и безвозвратно прошедшего времени. Кажется, в его сне, на бумажной разноцветной наклейке пластинки танцевали пары – топтались, сосредоточенно глядя под ноги и, не удержавшись на черном вертящемся диске, с душераз-

дирающим криком соскальзывали с его края в пустоту, клубящуюся багровым, но тут же на диске появлялись новые пары, чтобы спустя некоторое время тоже соскользнуть в багровый туман, а вслед им хищно сверкал штырек, на который насажена вертящаяся пластинка...

По ночам, просыпаясь от собственного вскрика, Семен обычно долго лежал, прислушиваясь к тишине одиночной камеры – ни стука капель из крана, ни шагов по коридорам, ни звуков проехавших по улице машин: единственное узкое зарешеченное окно выходило во внутренний глухой двор-колодец с выкрашенными ядовито-желтой краской кирпичными стенами.

Страшно и ужасно, сбежав из немецкой камеры смертников, с превеликими трудами добравшись до линии фронта и перейдя ее, в конце концов оказаться в одиночной камере у своих. И тут же возникла другая мысль – да, страшно и ужасно, но противоестественно это или закономерно? Он сам поверил бы безоглядно человеку, пришедшему *оттуда*, да еще рассказывающему такие вещи, от которых у слабонервных могут встать дыбом волосы?

Отчего-то вспомнилась услышанная по дороге от солдат конвоя поговорка: немец считает, что победит раса, американец думает, что всех побьет касса, а мы кричим – победит масса!

Изменилась армия с сорок первого, ох как изменилась! Погоны на солдатах и офицерах – непривычные, чем-то на-

поминающие виденные ранее фильмы про Гражданскую, где все беляки были в таких же погонах; оружие другое, бойцы более уверены в себе, на дорогах колонны войск и техники, немец уже не шарашит, как хочет, с воздуха, но предпочитает отвалить при появлении наших истребителей и штурмовиков. Все это наполняло его гордостью, и еще сильнее становилась тревога за себя, за будущее – что с ним станут делать, поверят ли?

Первый раз Семена допросили в землянке командира роты, потом под конвоем повели в тыл – сначала по запутанной системе ходов сообщения с тихо осыпающейся со стенок траншей землей и рассыпанными под ногами стреляными гильзами, потом какими-то балочками и овражками, пока не выбрались к чахлому лесочку, где располагался штаб полка. На перебежчика пришел поглядеть сутуловатый немолодой офицер с одной большой звездочкой на широких, с двумя просветами, погонах – как выяснилось, майор Сергеев, командир стрелкового полка, в полосе обороны которого Слобода перешел фронт.

Допрашивал особист с неприятным тонким голосом, любивший к месту и не к месту добавлять приговорку «ядре-на-корень». На его застиранной гимнастерке топорщились еще темно-зеленые, не успевшие полинять под солнцем и дождями, защитные погоны с четырьмя маленькими звездочками.

Майор Сергеев присел в сторонке и, неожиданно вступив

в разговор, начал дотошно расспрашивать о системе обороны противника, что видел и слышал Слобода, пробираясь к переднему краю немцев, а недовольно примолкший особист напряженно тянул в себя ноздрями, чутко принюхиваясь к запахам давно не мытого тела перебежчика и его грязной, засаленной одежды. Много позже Семен узнал, что капитан старался уловить – пахнет от прищельца с той стороны пиретрумом или нет? Все немецкие землянки и занимаемые их частями помещения были буквально пропитаны запахом этого дезинфицирующего средства, и потому человек, побывавший у немцев, впитывал запах, принося его с собой. На счастье Семена, подозрительные принюхивания капитана с тонким голосом ничего тому не дали.

Пограничник требовал встречи с представителями военной контрразведки фронта, не ниже, и его повезли сначала в дивизию, потом дальше в тыл, в какой-то заштатный городишко с криво торчащей на главной площади старой пожарной каланчой из красного кирпича, покосившимися домишками и разбитыми гусеницами танков мостовыми, в колеях которых стояли грязные не просыхающие лужи.

В штабе фронта допрашивали уже сразу несколько человек, потом сводили под конвоем в баню, переодели в поношенное, но чистое солдатское исподнее белье и застиранную форму без погон и знаков различия, а после отправили на аэродром и доставили в Москву.

Прямо у трапа ждал крытый фургон, прозванный «во-

ронком». Семена грубо запихали в его обитое железом темное чрево, лязгнула тяжелая дверь с маленьким решетчатым оконцем, уселись охранники, и нутжно заревел мотор. О том, что он в Москве, Слобода узнал уже на следующих допросах, которые вел лысоватый, выглядевший совсем по-домашнему подполковник, назвавшийся Николаем Демьяновичем.

Как-либо обращаться к допрашиваемому он старательно избегал, обходясь местоимением «Вы», но угощал чаем, распорядился выдавать папиросы и спички, отвечал на расспросы о действительном положении на фронтах.

Несколько раз вместе с Николаем Демьяновичем приходил на допросы одетый в мешковато сидевший на нем штатский костюм немолодой плотный человек среднего роста. Садился в стороне, внимательно слушал, листал исписанные аккуратным почерком подполковника листы протоколов, ерошил толстой короткопалой ладонью поседевшие волосы, изредка задавал уточняющие вопросы, а выслушивая ответы, недоверчиво щурился.

По тому, как вел себя в его присутствии подполковник, Слобода понимал: пожаловало высокое начальство, не ниже генерала, а может быть, и выше. Портреты таких людей не выносят на демонстрациях и не публикуют в газетах, поэтому о должности, занимаемой одетым в штатский костюм человеком, оставалось только гадать.

Свою историю Семен рассказывал бесконечное число раз,

припоминая все новые и новые подробности, до которых Николай Демьянович был большим охотником. Он вообще оказался вьедливым, педантичным, крайне внимательным, казалось, совершенно не знал усталости и в конце допроса, зачастую продолжавшегося по несколько часов кряду, выглядел абсолютно свежим.

– Ну, ладно, – сочувственно поглядывая на утомленного Слободу, обычно говорил он, собирая бумаги, – прервемся пока. Отдохните немного, поешьте, а потом продолжим.

И продолжали, невзирая на время суток. Подполковник требовал все новых и новых деталей, по много раз уточнял даты, названия населенных пунктов, через которые лежал путь Семена к фронту, приметы людей, встречавшихся на пути, предоставлявших ночлег, укрытие, оказывавших помощь беглецу.

Особо дотошно он расспрашивал о пребывании в тюрьме, о повешенном немцами переводчике Сушкове, о лохматом сокамернике Ефиме и других. Интересовался следователем СД, допрашивавшим Слободу в Немеже, лагерями, партизанскими отрядами, боями с карателями, побегами, именами предателей и полицаев, обстоятельствами побега со станции и произошедшей в деревне встречи с хозяином явки партизан Андреем.

От долгих ежедневных разговоров у Слободы опухло горло и до хрипоты осел голос, а подполковник все не унимался, задавая новые и новые вопросы – во что был одет Суш-

ков, как говорил, на какую ногу хромот, когда точно его повесили, кто при этом присутствовал из немцев, какие особые приметы имел Ефим, где располагалась камера смертников, просил нарисовать план тюрьмы и маршрут, по которому водили на допросы по галереям в другое крыло здания, кто принимал лейтенанта на явке, указанной Андреем, и кому перепоручили помогать беглому узнику в дальнейшем, как шел, чем питался, сколько километров проходил в день...

Вопросы сыпались из него один за другим – не человек, а машина по выдаче вопросов. Но при всем том подполковник не был вредным – всегда в ровном расположении духа, чисто выбритый, не повышающий голоса, вежливый, не пытающийся запугать или напустить на себя важность некоего всезнайки, видящего на аршин сквозь землю, – он даже нравился Семену и, вернувшись после допроса в камеру, Слобода часто пытался успокоить себя тем, что Николай Демьянович обязательно во всем разберется, изменника разоблачат, и ему, Семену Слободе, дадут возможность искупить позор плена, пусть даже невольного, снова взяв в руки оружие.

Пусть рядовым, но скорее на фронт! Одна мечта – вырваться наконец из страшного круга, в который его загнала война, разорвать тиски судьбы, вернуться в привычное русло, почувствовать себя нормальным, полноправным человеком. Неужели этому никогда не суждено сбыться?

В те редкие ночи, когда его не вызывали на допросы, Се-

мен мучился кошмарами или подолгу не спал, уставившись невидящими глазами в потолок и размышляя о том, как дальше сложится судьба. Спросить об этом подполковника? Ответит ли он, а если ответит, то что услышит лейтенант погранвойск Семен Слобода?

Иногда казалось – лучше ни о чем не думать, не спрашивать, пусть будет как будет: жить, подобно щепке, несомой водоворотом в неизведанную глубину жизненных вод. Однако человек – не щепка, особенно после того, как он прошел огонь и ад, ужас и позор плена фашистских лагерей, совершил несколько побегов и сумел сквозь все препятствия добраться до своих, донеся им страшную весть о предательстве, об измене! Разве может такой человек стать щепкой и смириться? Но как же тяжело оказаться вновь в камере! Теперь уже у своих, пусть даже и в столице...

«А на что еще ты рассчитывал, – останавливал он себя, прикуривая очередную папиросу и стараясь не обращать внимания на скопившуюся во рту горечь табака. – На что? На поцелуи, цветы, почетные караулы и гром оркестров, славящих героя? На лучезарные улыбки и предупредительность, усиленный паек и награждение орденами? “Классовая борьба по мере приближения к победе социализма обостряется”. Не сильнейшее ли проявление ее обострения война, на которой ты, волей судеб, оказался по другую сторону линии фронта?..»

В один из дней – Семен уже запутался во времени и пло-

хо различал, утром или вечером его вызывали на допрос, — рядом с подполковником оказался довольно молодой человек, не старше тридцати пяти — сорока, с тяжеловатым подбородком и выступающими надбровными дугами. Под темными бровями поблескивали светлые зеленоватые глаза, глядевшие на Слободу с нескрываемым жадным интересом. На незнакомце была шерстяная гимнастерка с майорскими погонами.

«Что-то новое, — подумал пограничник, искоса посматривая на майора, — неужто начинается нечто важное, если появился этот человек? Зачем он здесь? Новый следователь?»

— Присаживайтесь, — как старому знакомому, кивнул Николай Демьянович, — товарищу надо с вами побеседовать.

Семен сел и привычно опустил руки между колен, ожидая вопросов. Майор начал методично расспрашивать о положении в оккупации, проверках на дорогах, партизанских отрядах, в которых воевал Слобода, о Немеже и тюрьме СД. Измученный бессонницей и кошмарами, неясностью своей судьбы и томительными многочасовыми допросами, Слобода отвечал неохотно, раз за разом повторяя то, что уже говорил раньше, но потом как-то разговорился и даже позволил себе немного поспорить с майором, когда речь пошла о тактике действий немцев против партизан. Сколько длился допрос, лейтенант не знал, но вернувшись в камеру, он повалился на тощий матрац, брошенный на нары, чувствуя, как устал.

На следующем допросе его вновь ожидал сюрприз – теперь рядом с подполковником сидел кряжистый мужчина с добродушно-хитроватым прищуром глаз, одетый в штатский двубортный костюм и рубашку с галстуком.

Наметанным глазом Слобода сразу угадал в нем военного. По тому, как тот держал спину, как говорил, по сдержанным жестам. Может быть, ему просто показалось, но военные люди, привычные к оружию и командам, сразу узнают друг друга в любой одежде и при любых обстоятельствах. Да и кто еще, кроме человека, носящего недавно введенные погоны, мог появиться здесь вместе с Николаем Демьяновичем? Тем более когда идет война.

Опять долгие расспросы все о том же, уточнение подробностей, просьба вспомнить еще что-нибудь существенное о Сушкове, хозяине явки на Мостовой, дом три, подробно рассказать о той ночи, когда бомбили станцию и удалось бежать с нее – сколько километров, ну, хотя бы примерно, он проехал в разбитом вагоне до того, как спрыгнул под откос, как шел до жилья, когда наткнулся на родник, как перебирался через речку, ее ширина, в каком направлении течет вода, как называлась деревня, где его прятали в подполе, фамилия старосты, как зовут хозяйку и ее детей?

И пошло-поехало – два-три часа дают отдохнуть, поесть, перекурить, и снова на допросы. То майор спрашивает, то он уходит и появляется человек в штатском, а то оба вместе начинают выворачивать Семена наизнанку своими во-

просами. Дотошно, по несколько раз уточняя все вплоть до мельчайших деталей, требуя обязательно вспомнить, нарисовать схему, попытаться восстановить и воспроизвести интонации разговоров в камере смертников, вновь рассказать, как он узнал, что Сушков работал переводчиком у немцев, повторять номера лагерей, фамилии и приметы сослуживцев по заставе, товарищей по партизанским отрядам. Веером рассыпали по столу фотографии и просили найти знакомых.

Семен перебирал карточки, всматриваясь в незнакомые лица штатских и военных, в лица немцев в черных и армейских мундирах, и не находил знакомых. Ему снова показывали пачки фотографий – он откладывал в сторону карточки товарищей по училищу, называл их имена, рассказывал, откуда они родом, узнал бывшего командира заставы и политрука, недоумевая, – зачем это? Он уже достаточно давно здесь, могли запросить его личное дело и все проверить или разыскать тех, с кем он учился, чтобы провести опознание. Почему они так не поступили? Скрывают, что он у них? Скрывают, чтобы нигде не просочилась раньше времени принесенная информация?

Родителей не найдут – они померли в голод и Семен остался сиротой. Советская власть воспитала его, выучила, дала возможность окончить училище и стать командиром – разве пойдет он против нее, против своего народа? Как они не могут понять, что он, стискивая зубы, добирался сюда, чтобы спасти людей, еще не знающих об изменнике?

Когда его вдруг оставили в покое, он не сразу уразумел, в чем дело, и только отоспавшись и немного придя в себя после изматывающих разговоров, понял – они не верят ему!

Те двое, майор и штатский с хитровато-добродушными глазами, прятавшимися в веселых морщинках, пойдут за линию фронта! Поэтому они так выматывали его расспросами и, отпустив в камеру, наверняка продолжали свою нелегкую работу, проверяя и перепроверя все уже с других сторон, чтобы ни в чем не ошибиться там, оказавшись среди врагов. Вот почему с ним пытались говорить на немецком, давали текст на чужом языке, придирчиво расспрашивали о листовке, которую он сохранил и принес с собой.

Пожалуй, это самое верное предположение. Что они смогут там узнать и что это будет означать потом для него, Семена Слободы – избавление от все еще тяготеющего над ним подозрения и долгожданную свободу или?..

А если эти двое не вернуться? И что с изменником, нейтрализовали его или нет?

Камера вдруг показалась ему тесным каменным мешком, в котором нечем, совершенно нечем дышать, а стены словно сдавливают, сдвигаются, не оставляя места и грозя сомкнуться совсем, раздавив узника как букашку. Если есть Бог, то пусть он дарует удачу смельчакам, готовящимся отправиться прямо в ад ради жизни и чести других людей, ради истины – единственной и страшной, поскольку двух истин не бывает и просто быть не может. Истина только *одна!*

А он останется ждать их возвращения и решения своей судьбы – раньше даже нечего надеяться на ее решение, пока они не вернутся. Только бы вернулись, только бы им удалось!

Чувствуя, как опять началось в голове то самое нехорошее кружение и поплыла перед глазами темнота со всполохами разноцветных мельтешащих светляков, как уже случилось с ним возле лесного источника, когда он увидел свое лицо и не узнал его, Семен испугался. Хотелось закричать, позвать на помощь – здесь свои, они приведут врача, тот посмотрит и скажет, отчего все чаще и чаще темнеет в глазах, отчего нет сна и мучают по ночам кошмары, а лысоватый, часто угощавший чаем, Николай Демьянович иногда кажется совершенно незнакомым человеком и с трудом припоминаешь, как его имя-отчество и зачем они оба здесь?

Скажет, отчего без всякой боли неожиданно кружится голова и отказывают ноги, а мир вокруг крутится, как на карусели, и не понять – вращается все вокруг, или это сам Семен вертится с бешеной скоростью?

Слободе показалось, что он поднялся с нар и пошел к двери камеры, но на самом деле он только сполз на пол и с трудом повернул к окну голову с мокрым от катившихся слез лицом. Стискивая челюсти, рот свела судорога. Не в силах закричать, он только слабо застонал, мыча нечто нечленораздельное, и провалился в темноту, из которой снова тянула к нему кривые грязные руки с пальцами-когтями оборванная сумасшедшая баба, встреченная в сгоревшей дерев-

не. А за ее спиной мерно вращалась насаженная на блестящий, как чудовищный клык, отполированный и отхромированный штырь патефонного диска, пластинка с разноцветной наклейкой, и на ней сосредоточенно танцевали полуголые, тощие, как скелеты, пары, втягивая и его в свой страшный танец...

Танцевали, пока не соскользнут в багровую, клубящуюся темноту...

И Семен, не удержавшись на жутком, безмолвно вращающемся диске, соскользнул туда вместе с ними...

Глава 2

Ермаков долго и мрачно курил, поглядывая на сидевшего напротив Волкова, а тот терпеливо ждал, пока генерал сам начнет разговор, и не прерывал молчания.

Алексей Емельянович отметил, как сдал за последние дни Антон.

Вот только за последние дни или годы? Тяжелая работа в оккупированных странах, передача сообщений о подготовке немцев к войне, идущей полным ходом к нам, готовой ворваться, затопить все огнем, и в ответ – необъяснимое молчание Центра, неверие, а то и суровые, злые окрики; месяцы, проведенные в серпентарии абвера в Польше, ранение при переходе границы, госпиталь, начало войны и ее два тяжелейших года кого хочешь заставят сдать. Да, война, как Судный день, раздаст всем по истинным делам. Какую награду заслужил этот человек, сидящий по другую сторону стола, долгие годы скрывавшийся за чужим прошлым, чтобы работать для будущего мира на Земле? И есть ли достойные награды для разведчика, вынужденного отказаться даже от простого человеческого счастья и подчинить всего себя делу?

Пробилась у Волкова седина на висках, появились предательские морщинки у глаз, как-то незаметно потерявших прежнее задорное выражение, притаились в них невысказан-

ная боль и грусть. Могут ли заменить ему тяжелые, заслуженные кровью и жизнью ордена простую радость семейного счастья, улыбки детей, возвращения по вечерам с работы, столь доступную людям других профессий, не знающих жесточайшего напряжения духовных сил, воли и знаний в смертельном поединке с врагом, когда ты практически один и на чужой территории?

Генерал долго размышлял, прежде чем решился на сегодняшней разговор, но потом пришел к выводу, что правда всегда лучше самой спасительной лжи – человек, уходящий на задание, должен знать все и действовать с открытыми глазами. А говорить, так сказать, напутствовать, все равно надо – так не лучше ли решить накопившиеся проблемы разом, не откладывая объяснения в долгий ящик?

– Вам придется трудно, – прервал затянувшееся молчание Алексей Емельянович. – Речь идет о слишком серьезных вещах: над командующим фронтом повисло обвинение в измене. Не хочу скрывать, что наше руководство склонно видеть в деле элементы нового заговора военных.

Примяв в пепельнице папиросу, генерал встал из-за стола, сел напротив Волкова и положил перед собой папку с бумагами.

– Сроки, Антон Иванович, самые сжатые, и права на ошибку у нас нет. Просто нет и все. Понимаешь?

– Да, – согласно кивнул тот. – Хотелось бы еще раз уточнить некоторые детали с подследственным Слободой.

– Не получится, – недовольно поджал губы Ермаков.

– Почему? – недоуменно посмотрел на него майор. Еще вчера с бывшим лейтенантом проговорили более восьми часов, а сегодня вдруг на его допросы наложено вето? Что произошло?

– Не получится, – повторил генерал. – Плох он, крайне плох. Врачи говорят, организм не выдержал напряжения. Сознание помутилось, пришлось изолировать в психиатрической клинике под чужой фамилией, чтобы соблюсти секретность операции. Впрочем, какой рассудок не помутится от выпавшего ему на долю? Все испытал: первые часы войны, блуждания по лесам, партизанил, плена отпробовал, немецких лагерей, камеры смертников, а потом попал в камеру-одиночку здесь, после беспримерного перехода к линии фронта.

– Вот это-то меня истораживает, – задумчиво протянул Волков. – Как он дошел? Я попытался подробно восстановить весь его путь к фронту, отмечая на карте места ночевки, партизанские маяки, шоссейные и железные дороги, которые он пересекал, водные преграды, прикидывал иные маршруты, скорость движения...

– Не веришь? – прямо спросил Ермаков. – Ну, говори, чего молчишь, как провинившийся школьник?

– Не то чтобы не верю и полностью готов доказать с фактами в руках свое неверие, – откликнулся майор, – а вот сомнения есть.

– Выкладывай, – снова закуривая, поторопил генерал.

Волков зря не встревожится, не тот характер и не то воспитание: он в первую очередь человек дела, приученный к строгой дисциплине ума и поведения. Поэтому Ермаков и решил сегодня сказать ему все.

– Более короткого маршрута к линии фронта разработать нельзя, – глядя в глаза начальника, сообщил Антон.

– Погоди, – ухватившись за его мысль, Алексей Емельянович поразился тому, что майор додумался применить простой и старый, как мир, картографический метод, соединив точки маршрута, по которому шел к фронту бежавший из тюрьмы СД Семен Слобода.

Сразу же ушла в сторону умозрительность названий населенных пунктов, рек, дорог и четко прорисовался путь сюда, к своим. Да, но этот путь надо было осмыслить с точки зрения разведчика и контрразведчика, опираясь на то, что сделали до Волкова Козлов и другие допрашивавшие перебежчика сотрудники.

– Думаешь, его тащили, как козла на веревке? – недобро прищурился Ермаков.

– Могли и везти, а время от времени выпускать, так сказать, «на вольный выпас», давая возможность появляться в деревнях и на лесных хуторах, ночевать там, расспрашивать о дороге, просить помощи, – пояснил свою версию Волков. – Потом снова везли ближе к фронту, и все повторялось сначала. Они торопились доставить его к нам.

– Тогда он – хорошо подготовленный немецкий агент, – откинулся на спинку стула генерал. – Но представь себе, что все мое существо, опыт человека, разведчика и ум чекиста восстают против такого предположения. Согласен, что бежать, а потом перейти фронт, отмахав почти полтысячи верст, совсем не просто, однако загвоздка здесь, как мне представляется, в чем-то ином. Ты знаешь, что в Немеже окопались наши старые знакомые – фон Бютцов и прибывший туда из Берлина Бергер, признанный мастер провокации и дезинформации. Если они решили подсунуть нам липу, то не станут делать это столь грубо. Слобода чист, особенно если он «конверт» для жуткой *политической* дезинформации, имеющей дальний прицел и служащей началом сложной многоходовой операции. Для роли такого «конверта» Бергер и Бютцов подберут человека, которому мы не сможем не поверить. А Слобода просто идеальный вариант – бывший пограничник из войск НКВД, партизан, бежал из камеры смертников... Нет, что-то не так в твоих построениях, хотя в них есть весьма рациональное начало. Слушай, а если они, оставаясь в тени, просто помогли ему дойти до фронта? Но как тогда с информацией об измене, с гибелью людей, прикоснувшихся к ней, усиленными розысками беглеца, карательными экспедициям по уничтожению партизан, выжиманию их из этого района? Слобода именно тот человек, за кого себя выдает, вернее, не выдает, а он и есть он. Это проверено и перепроверено десяток раз. Ошибка исключе-

на. Вот тебе и надо, вместе с Павлом Романовичем Семеновым, проверить все на месте. Семенов тоже бывший пограничник, служил в тех местах, хорошо подготовлен, работал с тобой по связи с Марчевским, поэтому выбрали тебе в напарники именно его.

Открыв лежавшую перед ним папку, генерал достал бумаги, скривив губы, перелистал их, бегло просматривая строчки документов.

– Сушков тоже практически вне подозрений. Кстати, тут на тебя телегу прикатали о связи с некоей Антониной Дмитриевной Сушковой, дочерью врага народа. Что скажешь?

– Подписал Первухин? – криво усмехнулся Антон. – Ее отца реабилитировали перед войной.

– Знаю, – вздохнул Ермаков. – Ее родитель и есть тот самый переводчик Дмитрий Степанович Сушков, которого повесили во дворе тюрьмы СД в Немеже. Такие, брат, пироги.

«Тугой узелок, – подумал Волков, чувствуя, как неровными толчками забилось сердце в груди и взмокли ладони. – Круто заворачивается дело. И что я, дурак, не догадался, когда изучал материалы? Хотя мелькала мысль, но отмахнулся от нее, сочтя простым совпадением, а оно вон все как повернулось».

– Она мне жена, – глухо сказал он, глядя в пол. – Пусть мы не венчаны и не расписаны, но жена.

– Понимаю, – отвел глаза в сторону генерал, – но предлагали снять тебя с задания. Не бабку-селянку на базаре от-

правляетесь спросить о пропаже гуся или свиньи, а Бергер и Бютцов тебя знают, и в этом еще одна причина. Могут возникнуть непредвиденные осложнения.

– Вы же сами упоминали о сжатых сроках, – напомнил Антон. – Кто успеет подготовиться вместо меня?

Ермаков бросил документы в папку и сердито захлопнул, прижав сверху толстой ладонью:

– Я тебя отстоял, но учти, что все не шутки! Знаю, – отмахнулся он от порывавшегося что-то сказать ему Волкова, – знаю, что она не видела отца практически с момента рождения, все знаю. Знаю, как доверял ему Чернов, знаю, на какой риск шел этот немолодой, искалеченный судьбой и людьми человек, оставаясь в оккупации. Знаю и понимаю ее, его и тебя. Боюсь другого: твоей предвзятости! Сознательно говорю тебе все, как попу на исповеди в детстве не говорил. Сейчас в наших руках честь и жизнь не только командующего фронтом, но и многих других людей, и я хочу, чтобы ты понял всю тяжесть ответственности и не искал легких путей, стараясь обелить свою суженую-ряженую.

– Поэтому со мной и летит Семенов? – обиженно вздернул подбородок Антон.

Генерал опять вернулся на свое место за большим письменным столом с лампой под зеленым абажуром и массивным прибором каслинского литья. Устраиваясь в кресле, глухо ворчал себе под нос нечто неразборчивое о мальчишках и сопляках, потом сказал:

– Видишь, чего творится? Один с ума сошел, других повесили, на тебя телеги катят... Думаешь, мне просто, думаешь, лампасы мои – панацея? Дело нам надо делать, Антон. Не люди для чекистов созданы, а чекисты для защиты людей. Вот и суди по совести себя и других. Отправляйся пока отдыхать, перед вылетом встретимся еще все вместе, а даст Бог вернетесь, решим, как вас повенчать. Все, иди...

Выйдя из кабинета генерала, Антон пошел длинным коридором, машинально отвечая на приветствия встречавшихся по дороге знакомых сотрудников. Прав оказался Кривошеин – мстительный Первухин накатал рапорт, да еще грязи насобирал. Интересно, к себе вызывал квартирную хозяйку или удостоил ее чести и самолично посетил тихий домик в переулочке?

Есть же такая порода людей, которые любят совать нос в чужие горшки и, замирая в предвкушении скабрезных находок, рыться в грязном белье – не дает им покоя проходящая мимо жизнь, поскольку своей у них нет, а есть только существование, – серенькое, старательно прикрытое трескучими лозунгами о необходимости. Необходимости чего – их самих? Наверное, так. Они усиленно культивируют в себе, как некую броню от собственной серости, время от времени болезненно ощущаемой ими, чувство собственной нужности и исключительности. Остальные люди существуют для них, а не они для людей – в этом Ермаков прав, предостерегая от подобных заблуждений, способных завести черт знает куда.

Хорошо еще, рапорт попал именно к Алексею Емельяновичу, а не к кому-нибудь другому, но кто даст гарантии, что с ним уже не ознакомлено более высокое руководство?

Влип в историю – все смешалось, завертелось, как в калейдоскопе: вылет на задание, пребывание в Немеже старых знакомых фон Бютцова и оберфюрера Бергера, рапорт Первухина об отношениях Антона с Сушковой, ее погибший отец, репрессированный перед войной, неожиданное помутнение рассудка у перебежчика Слободы. Какой же тяжкий груз ложится теперь на плечи, и от этого еще ближе и понятней становится положение командующего фронтом, втянутого в смертельные жернова подозрения в измене, готовые на любом повороте захватить его мертвой хваткой и перемолоть вместе с семьей, товарищами по службе, родными и знакомыми, не оставив даже их следа на многострадальной, истерзанной боями русской земле.

А он, майор Волков, вылетающий во вражеский тыл вместе с Павлом Романовичем Семеновым, должен либо ускорить мерное движение этих жерновов, либо попытаться остановить их – все зависит от того, как они с Павлом сработают там, что узнают, сумеют ли установить истину, возможно, даже заплатив за нее самую высокую цену. Ведь все, обговоренное тысячи раз здесь, разрисованное на схемах, проигранное в умах, может оказаться никчемным там, за линией фронта, когда враг начнет свой жесткий прессинг и будет почти полным хозяином ситуации на оккупированной им тер-

ритории. Однако надо любой ценой получить ответы на вопросы, которые поставлены перед их маленькой группой!

Но как знать, вдруг полученный ответ станет тем последним толчком, который и их приблизит к неумолимому тяжелому жернову принимаемых «наверху» решений, втянет в смертельный круг и неумолимо раздробит, вместе с опальным генералом, родными и близкими, вместе с еще не состоявшейся любовью и всеми планами на будущее? Впрочем, почему «как знать»? Они все – Антон, Ермаков, Семенов, плавающий в безумном бреду Слобода, лысоватый Козлов и другие – уже давно стоят у самого края этих жерновов...

Открыв дверь своего кабинета, Волков сел за стол. Можно немного побыть в одиночестве – столы других сотрудников пусты: кто на заданиях, кто на фронте, кто в госпиталях.

За окнами серыми простынями повисли облака, выгнулись парусами, закрыли небо над крышами домов, слоями наплывая друг на друга. Снег давно сошел, нежно зеленели деревья в парках. А та ночь, прекрасная и сумасшедшая, словно пришедшая к нему в видениях, ночь с зеленовато-призрачной луной, черными тенями ветвей, студеным ветром, прилетевшим с просторов закованного льдом океана, разметавшимися по подушке тонкими русыми волосами и тихим родным дыханием рядом, казалась ему далекой волшебной сказкой. Как ему вернуть все это? Нет, не луну и ветер, но человека?

Сколько еще придется пройти и испытать, прежде чем

он снова сможет, проснувшись среди темноты и тишины, услышать рядом ровное дыхание и, стесняясь собственной нежности, коснуться ее волос ладонью? Кто только придумал войны, поединки разведок, измены, подозрения, поделил людей на своих и чужих, заставил их исповедовать разные идеалы и убивать тех, кто их не разделяет? Что все это по сравнению с вечным таинством жизни, по сию пору никем не разгаданным, не познанным до конца?

Вспомнился профессор математики Игорь Иванович, размышляющий над загадками времени, и его слова, что тебя обязательно должны ждать и даже на войне существуют любовь и дети. И еще о том, что надо смело посмотреть потом людям в глаза, давая отчет о прожитом и сделанном тобой, а время неумолимо, и еще ни разу никому не удалось повернуть его вспять.

Позвонить ему, поздороваться, воспользоваться давним приглашением, зайти в гости и провести вместе вечер, слушая пластинки и мелкими глотками прихлебывая из старых чашек горячий чай, уютно устроившись в кресле и глядя на ровные ряды книг в шкафах?

Будешь чувствовать себя почти как дома, а беседы с профессором – пир ума и чувств, ни с чем не сравнимая роскошь общения с интересным человеком. Такой вечер тоже останется в памяти, и потом, уже *там*, можно вспоминать его, как ту ночь, после которой они даже не простились с Тоней. Воспоминания помогают, поддерживают, как опоры,

слабеющую иногда душу – человек не сделан из железа.

Протянув руку к телефонному аппарату, Антон медленно отвел ее назад – нет, нельзя, да и время, проведенное у профессора, не наверстаешь. Пусть он, вместе с воспоминаниями о Тоне, останется его маленькой мечтой-загадом, властно зовущей назад, в Москву, притягивая незримой нитью к знакомым с детства местам.

Открыв сейф, он достал документы и бросил взгляд на часы – сейчас должен зайти Семенов. Сядет напротив, сунет в рот мятую папиросу, улыбнется глазами, и станет на душе спокойнее от того, что рядом с тобой надежный товарищ, понимающий тебя с полуслова-полувзгляда. Спасибо Ермакову за такого напарника и мысленное «прости» за сорвавшиеся с языка злые слова недоверия.

А когда вернется, – тьфу-тьфу, чтобы не сглазить удачу, – станет видно, как Ермаков решил повенчать его с Тоней. Прочь мысли о жерновах власти – человек всегда хочет надеяться на лучшее, даже на войне...

* * *

На душе у Ромина было погано: все планы полетели к черту из-за внезапной болезни усатого тупого обормота Скопина, чтоб ему пусто...

Ромин плюнул в открытое окно служебного купе, тыльной стороной ладони вытер губы и, прищурившись от бью-

щего в лицо встречного ветра, выглянул – поезд втягивался на длинный перегон, чадно дымил впереди паровоз, мерно отсчитывали стыки рельсов колеса, изредка выбивая реборами искры, – машинист тормозил.

По краям полотна тянулись грязные поля, мелькали телеграфные столбы, протянувшие вдаль тонкие чуткие пальцы проводов, несущих в себе чужие радости и печали, убогие домишки сиротливо провожали уходящий состав слепыми окнами, остался позади переезд с шлагбаумом и одинокой фигурой пожилой стрелочницы в телогрейке: Россия.

Прикрыв окно, Ромин сел на полку, достал помятую жестяную кружку и налил себе кипятка из большого чайника. Помешивая ложкой, устался на противоположную стенку купе, как будто хотел во всех подробностях рассмотреть на ней скрытые от посторонних глаз, видимые только ему замысловатые узоры.

Проклятый напарник! Надо же ему так не вовремя заболеть!

Вот она, прихоть капризной судьбы – считай, он давно стал бы покойником, но все еще копит небо, живет и здравствует. Тогда Скопин разболелся не на шутку: лежал в купе, никуда не выходил, только, пошатываясь от слабости и температуры, с трудом добредал до туалета и потом долго вздыхал и слезливо жаловался, как там немилосердно дует во все щели. Глядя на Ромина глазами больной побитой собаки, он просил скорее достать еще водки и перцу, укрыть его потеп-

лее и не оставлять надолго одного.

Какие тут планы, как тащить Скопина в тамбур и выпихивать на ходу его тело в сугробы на маленьком полустанке, если буквально через час-другой после отправления уже все вокруг знали, что он болен? Как потом сошлешься на его отсутствие, на то, что он отстал от поезда, побежав на полустанке за кипятком?

Кто поверит этим бредням?

Пришлось стиснуть зубы и, делая вид, как озабочен и напуган его болезнью, добывать водку, перец, покупать за бешеные деньги сало и чеснок, кормить усатую скотину и слушать по ночам его пьяный храп, замирая от страха, что он начнет орать во сне, увидев кошмары.

Ромин часто жалел, что у него нет яду – сыпанул бы или налил немного в стакан с водкой и поднес напарнику: кто потом станет разбираться, от чего именно тот помер? Но яду не было, а Скопину становилось все хуже, и уже не помогали ни водка, ни перец.

Ромин начал уже тихо радоваться – нет, не допустил Господь, освободил его от тяжкого греха, не заставил убивать пусть крайне ограниченного, противного, тупого, но все же человека – все решится само собой. Зачем Скопину дальше жить, если он так много знает о Ромине, связнике, застреленном в затхлом и пыльном подъезде проходного двора в уральском городке, знает, наверняка знает и о том, кем был человек в серых валенках с самодельными галошами из ста-

рых автомобильных покрышек?

Пусть он унесет все свои знания с собой на небеса, где его встретят у райских ворот строгие ангелы – им и так по должности положено ведать о любых людских делах и грехах, а людям ни к чему такие способности, иначе как тяжело тогда стало бы жить на Земле...

Помочь напарнику расстаться с трудной жизнью, закончив ее на вагонной полке, Ромин боялся – удавишь, а потом заметят на шее пятна от пальцев или полосочку от удувки и начнут таскать. Это тебе не «отстал от поезда»!

Однако оказавшийся на диво живучим Скопин никак не желал помирать – терял сознание, мучился, обливался жарким потом, но душа его словно была прибита аршинными плотницкими гвоздями к телу и не отлетала в райские кущи. Мало того, начальство распорядилось снять его на одной из больших станций и отправить в больницу, опасаясь, что болезнь может оказаться заразной. И сняли.

Задолго перед остановкой Ромин тщательно обыскал напарника, чтобы, упаси Бог, не осталось при нем даже клочка компрометирующей их бумажки или чего похуже. Найдя у него маленький вальтер, бывший поручик только горько усмехнулся и сунул пистолет в карман своих брюк – оставлять нельзя, не то отправишься следом за Скопиным в НКВД. Вертя послушного, обеспамятевшего больного, прощупывая швы его одежды и белья, отрывая стельки у сапог, морщась от вони немытого потного тела, страдая от брезг-

ливости и невозможности прекратить свое занятие, Ромин зло матерился сквозь зубы и молил всех богов, чтобы Скопин никогда больше не вышел из больницы.

Когда больного унесли, навалилась тупая апатия – подойди кто в этот момент и плюнь в лицо, даже в драку не полезешь, а только утрешься и поблаговаришь. Допив оставшуюся водку, Ромин подумал: может, сейчас, когда руки почти развязаны, попытаться осуществить свой план исчезновения? Выходить на связь он не собирался – слишком опасно стучать на ключе, закрывшись одному в купе, когда никто не боится в коридоре, но записку, переданную связником при их последней встрече, все же сохранил. Как бы ему хотелось, чтобы это оказалась действительно последняя встреча с прошлым!

Поразмыслив, он решил, – сразу исчезать нет резона: сначала надо все же узнать о судьбе Скопина. Не ровен час выживет, настучит на него тем или этим, и тогда петляй из стороны в сторону, замечая следы, а так жить не хочется. К чему сгибать себя под гнетом вечного страха, носить в душе не заживающую язву опасений, – разве он мальчишка, разве впереди еще столько, сколько осталось позади? И потом, суестьливость губительна, она гневит Бога и тешит дьявола. Надо не один раз отметить и взвесить, как следует разложить по полочкам, прежде чем очертя голову бросаться в прорубь. Сломался старый план? Сломался. А новый есть? Нет. Вот и подумай над ним, а не соблазняйся кажущейся легкостью,

которая к добру еще никого не приводила: Скопина необходимо самым надежным образом нейтрализовать, а надежные способы нейтрализации Ромин изучил еще в добровольческой армии, где за стаканчиком винца и за картами любил приговаривать, что лучше и дольше всех молчат только усопшие. Подождем немного.

Ждать пришлось долго. По случаю удалось забежать в одном из рейсов в больницу, проведать напарника. Тот выздоравливал – отошал, выперли и обтянулись темной кожей скулы на лице, сделав его похожим на монгола, сбриты усы, острижена наголо голова, торчит из ворота застиранной больничной бязевой рубахи тонкая шея с крупным кадыком, волчий аппетит, руки-щепки, бездна злости и желания поскорее выбраться из опротивевшей больнички, – но выздоравливал, подлец!

Сидя на краю койки и заботливо подсовывая Скопину незамысловатые гостинцы, которые тот, настороженно зыря глазами по сторонам, словно у него в любой момент могли отнять хлеб с салом, жадно пожирал, неаккуратно просыпая на одеяло крошки и вытирая сальные руки о край простыни, Ромин не мог отказать себе в маленьком удовольствии представить, что он сделал бы со своим богоданным немецкой разведкой напарничком в двадцатом году.

Тогда Скопину, пожалуй, было уже за двадцать, соображал, подлец, что почем. Эх, и порезвился бы господин поручик! Жаль, не скрестились их пути, да и кто тогда мог

предугадать будущее? Крым, укрепленный западными инженерами, казался неприступной твердыней, созвездие военных имен рядом с бароном Врангелем, английские бронемашины, танки, значительный запас боепитания, масса офицеров...

Даже если и узнал бы Ромин тогда свою судьбу, даже если и попался бы ему Скопин и ушел на дно бухты с камнем в ногах и пулей в черепе, то сейчас оказался бы на его месте другой. Чего уж теперь кулаками махать?

Убедившись воочию, что костлявая повела косой мимо напарника, Ромин, выйдя из больницы, сначала впал в неистовый гнев на несправедливую судьбу, но потом успокоился и стал думать: как быть? Прилипал к окну в редкие свободные минуты, выскакивал из вагона на полустанках – снег сходит, в сугроб тело не спрячешь, а надо убрать Скопина тихо и надежно: в силе оставалась часть прежнего плана, с сообщением об отставшем от поезда напарника.

Наконец нашлось что нужно – поезд в темное время суток проходил с небольшой остановкой для забора воды через маленький полустанок. Рядом с путями раскинулось болотистое озерцо. Запасшись тяжелым камнем и веревкой, Ромин промерил глубину – достаточно, чтобы спрятать то, что раньше было Скопиным, а дно илистое, тело уйдет в него, как кулак в пуховую подушку.

Пришлось засекать по часам время, требуемое для действия – надо выманить напарника в тамбур, заранее приго-

товить груз и веревки, дотащить его до озера и успеть вернуться, не то сам отстанешь от поезда. А вдруг это как раз то, о чем он не думал раньше, но самое правильное: не заявлять, не поднимать шума, а исчезнуть на следующей большой станции? Стоит проработать и такой вариант!

Наконец все вымерено и выверено, оставалось дожждаться появления кандидата в утопленники. Вскоре Скопин выписался и отправился с Роминым в поездку. Обрадовался припасенной бутылке, быстро захмелел, и бывший поручик смекнул, что в ночь окончательного расчета стоит Скопина хорошенько подпоить, сыпанув в водку снотворного.

Тогда резать или стрелять не надо – тащи пьяного к озеру и немного поддержи его голову в воде, пока не перестанет дергаться. Спихни тело подальше от берега и спокойно можешь кричать во весь голос о пропаже второго проводника, а о пристрастии Скопина к выпивке знали очень многие. Отчего бы пьяной скотине не утонуть?

Радужно угощая напарника, Ромин жаловался на вынужденный перерыв в работе, говорил о накопившихся материалах, сетовал, что перетрясся от страха, пряча на период болезни товарища рацию.

Скопин, набив рот, только выразительно мычал в ответ, а бывший поручик думал, что утопить его надо по дороге в Москву, когда будут возвращаться с Урала. Очень удобно – немцы получают радиограмму с данными и объяснением долгого молчания, успокоятся, рассеются последние подозрения

у Скопина, на конечной станции Ромин выйдет в город, якобы на встречу со связником, а на обратном пути и...

— Скорее бы все кончилось, — Скопин, вновь отпуская усы, отвалился от столика и начал ковырять в зубах спичкой. — Силов нет, все высосал лазарет проклятый.

— Погоди немного, — собирая остатки закуски, серьезно пообещал ему Ромин, — недолго осталось терпеть...

* * *

В воздухе нещадно болтало — самолет вздрагивал и неожиданно ухал вниз, подпрыгивая, как старый разболтанный автобус на ухабистой сельской дороге, и тогда казалось, что все внутренности разом подкатывают к горлу и норовят через рот выскочить наружу, навсегда покинув свое привычное место. Моторы натужно завывали, транспортник упрямо карабкался выше, ныряя в густые облака, закладывало уши от перепада давления, а потом снова встряхивало, уходил из-под ног решетчатый пол из аккуратных деревянных реек, мутило и подбрасывало. Когда падение замедлялось, пол словно ударял в ноги.

Скосив глаза, Волков увидел в синем призрачном свете салона лицо сидящего рядом Семенова — неестественно бледное, потное, с полуоткрытыми глазами. Заметив, что на него смотрят, он попытался улыбнуться, но улыбка получилась кривой и жалкой. Антон подмигнул ободряюще и отвернул-

ся – сам наверняка выглядит ничуть не лучше, а к горлу подкатывала новая волна тошноты. Нет, рожденный ползать летать не может, однако приходится.

Но вскоре болтанка прекратилась, моторы загудели ровнее, затянув свою заунывную песню на одной ноте: чувствовалось, что набрали приличную высоту. Из кабины вышел один из летчиков и, весело улыбаясь, заглянул в лица пассажиров – как там они, живы еще?

– Оторвались, – перекрикивая гул моторов, сообщил он.

– От кого? – поправляя на груди ранец парашюта, опросил Семенов.

– Ночные истребители, – нагнувшись, объяснил пилот. – Днем они спят или ходят в темных очках, как кроты, чтобы в темноте видеть, а как стемнеет, вылетают на охоту за нашими. Настырные, просто спасу нет. Штурмовики уже два раза их аэродром накрывали, да видно, мало.

Похлопав пассажиров по плечам тяжелой ладонью, летчик снова улыбнулся и ушел. Прикрыв глаза, Антон судорожно глотнул несколько раз – никак не пропадали тошнота и давящая боль в ушах. Нет, внизу, на земле, все же как-то привычнее и спокойнее, чем под облаками.

Надежного аэродрома у партизан нет, придется прыгать на свет костров, выложенных условной фигурой, которая менялась каждый день, о чем договаривались шифровками по радиации. Сегодня должны зажечь «звезду» – пять костров и один в середине. Интересно, какая там поляна, угадаешь ли

точно на нее? Падать на деревья очень не хотелось, а кругом будет лес. Да ну его, думать об этом...

Оправившийся Павел Романович повеселел, достал из кармана комбинезона спрятанную перед вылетом плитку шоколада, знаками показал, что угощает, но, увидев отрицательный жест Волкова, убрал и постучал пальцем по стеклу циферблата часов: скоро прилетим. Антон согласно кивнул и подтащил поближе к люку мешки с грузом – патроны к автоматам, мины, перевязочный материал, лекарства, свежие газеты...

Костры появились внизу неожиданно – маленькие, тускло рдевшие в темноте точки, словно искры на угольно-черной золе. В открытый люк ворвался холодный ветер, самолет пошел на разворот, и стоявший около люка пилот прокричал, что сначала надо прыгать им, а потом он выбросит тяжелые мешки. Темнота с алыми точками костров далеко внизу одновременно притягивала и отталкивала, призывая остаться на борту, не делать сумасбродного шага вниз, отрубаящего все пути к отступлению. Волков неоднократно слышал, что немцы, расшифровав радиোগраммы или воспользовавшись полученными от предателей сведениями, выкладывали свои костры, заманивая на них десантников или заставляя наших летчиков сбросить грузы. Часто костры выкладывали просто так, наобум, вытягивая их в одну линию, или располагая «конвертом», надеясь на случайную удачу – вдруг совпадет и русские клюнут. Где условленные в радио-

грамме сигналы ракетами?

И тут внизу вспыхнули блеклые звездочки трех белых ракет – есть, все правильно. Почувствовав на плече ладонь пилота – это прощание, пожелание успеха и приказ прыгать, поскольку говорить мешает гул моторов, да и зачем сейчас какие-то слова, – Антон шагнул вперед и вывалился в темную ледяную пустоту.

Забило дыхание встречным ветром, раздувая щеки, выжимая из глаз обильные слезы, стягивая кожу от холода. Потом хлопнул, наполняясь воздухом, купол парашюта и падение замедлилось – стало видно костры, темную полосу густого леса, маленькие фигурки людей, суетливо мелькавшие в розовом отсвете пламени разложенных в ямах костров, даже почудился запах смолистой гари еловых ветвей. Выше белел купол парашюта Семенова, получившего перед вылетом на задание псевдоним «Григорьев». Сам Антон остался, как и прежде, «Хопровым».

Приземлившись, он поразился тишине и словно обрушившимся на него запахам весеннего леса – они словно ароматным облаком окружили его в сырой прохладе ночи. Далеко-далеко гудел шмелем улетевший самолет, справа стеной стоял лес, слева поляна, за ней тоже лес, а впереди костры, от которых бежали люди. Быстро отцепив лямки парашюта, Волков поискал глазами в небе Семенова-Григорьева. Вон он, приземляется немного в стороне, хорошо, что не отнесло на деревья.

Выставив автомат в сторону бежавших, Антон спросил пароль. Услышав его, опустил оружие и начал собирать парашют. Подоспевшие партизаны помогли увязать стропами белый купол и поспешили навстречу Семенову. Где-то за лесом слышны были выстрелы – мелко и гулко бил немецкий пулемет, бухали винтовки.

– Уходим, – потянул Волкова за рукав заросший щетиной партизан, – покою не дают, сволочи. Осмелели чегой-то, даже ночами лезут.

Несколько человек заливали костры «по-пионерски», молча в ямки и забрасывая огонь землей при помощи саперных лопаток. Пламя сопротивлялось, не желая умирать, но вскоре потухло, и стало еще темнее. Маленькая группа пестро одетых людей, вооруженных немецкими автоматами и карабинами, красноармейскими винтовками и ППШ, направилась в чащу.

Слыша почти на затылке дыхание Павла Романовича, Антон шел, держась за спиной пожилого партизана, казалось, насквозь пропахшего махоркой. Под ноги то и дело попадались вылезшие на не приметную в темноте тропинку корни деревьев, пеньки и сухие сучья. Сзади тащили сброшенные с самолета тюки.

На счастье, идти пришлось недалеко – в не приметном овражке ждали спрятанные лошади.

– Верхами можете? – передавая Антону повод, сделанный из обычной веревки, поинтересовался один из встречавших.

– Далеко пойдем? – попробовал выяснить Волков, устраниваясь на самодельном, жутко неудобном седле и ища ногами веревочные стремяна.

– Ни, верст двадцать, а может, и с гаком, – партизан весело оскалил в темноте кипенно-белые зубы. – В случае чего держитесь за гриву, донесет.

Навьючили на лошадей поклажу, взобрался на вислозадую кобылку Семенов, привычно разбирая поводья, сели в седла партизаны – и тронулись.

Лес стоял по сторонам тихий, только шумел где-то поверху ветер, качая кроны деревьев и безуспешно пытаясь разогнать ходившие по небу тучи, чтобы выпустить на волю звезды. Пахло сыростью, стоялым болотом и прелым прошлогодним листом – чуть горьковато, щемяще жалобно и тревожно, рождая в душе неясное беспокойство. Спрятавшись в зарослях, покрикивала неизвестная ночная птица, пытались хлестнуть по лицу ветви кустов, глухо стучали по мягкой лесной земле копыта, и этот негромкий звук тут же стихал, украденный деревьями, и возникал вновь, чтобы опять пропасть.

Ехали долго. Небо на востоке, откуда прилетели Семенов и Антон, уже начало сереть, наливаясь жемчужным отсветом нарождающегося нового дня, когда добрались до лагеря – землянки и шалаши приткнулись под кучами кустов и под деревьями, прикрывшись сверху валежником и проросшим свежей травкой дерном. Еще за несколько километров до ла-

геря прибывших встретили партизанские секреты и проводили от заставы к заставе.

«Здесь один из отрядов, – понял Антон, – или штаб бригады».

Спрыгнув на землю, он почувствовал, как затекли от долгой дороги ноги, – давно не сидел в седле, да и разве можно назвать седлом странное сооружение из деревяшек и прихваченной поперек брезентовым ремнем подушки, набитой не то мхом, не то трухой?

Подошел средних лет человек – чисто выбритый, с внимательными темными глазами, одетый в кожаное немецкое пальто, – подал руку:

– Михаил Петрович Чернов. Мы вам земляночку отдельную нашли, отдохните с дороги часок, потом потолкуем.

Земляночка оказалась тесной, с небольшим столом из сосновых плах и двухъярусными нарами. Низкое оконце почти не давало света, в углу притулилась железная печурка с выведенной в крышу жестяной трубой, но все равно после полета и многочасового качания в седле приятно вытянуться во весь рост на нарах и чувствовать, как уходит из ног предательская дрожь, вдыхать запахи земли и слышать негромкие звуки жизни партизанского лагеря – ржание лошадей, позвякивание ведер, хриплый голос, отчитывающий какого-то Алехановича, не так располосовавшего ножом принесенный парашютный шелк...

Чернов пришел через два часа. Вместе с ним появил-

ся мрачноватый мужчина в гимнастерке старого образца без знаков различия. Его глубоко посаженные светлые глаза смотрели хмуро и недоверчиво.

– Колесов, – представил его секретарь подпольного райкома, – командует у нас разведкой.

Антон знал, что Колесов профессиональный чекист, и потому, не дожидаясь вопросов, предъявил ему свое удостоверение, отпечатанное на квадратике плотного желтоватого шелка.

– Спрашивайте, – возвращая шелковку, немного подобрел начальник разведки. – Чем можем, постараемся помочь, правда, мы до сих пор не знаем, в чем дело.

– Речь пойдет о Сушкове, – угощая хозяев папиросами, начал Семенов. – С кем он работал?

– С Прокопом, – прикуривая от коптилки, отозвался Колесов. – Тот был участковым в милиции, а раньше в уголовном розыске служил. Толковый мужик, ранения имел в борьбе с бандами, потому и ушел с оперативной работы. Здесь Прокопа почти не знали, и мы направили его в город. Сергачев его настоящая фамилия – Андрей Прокопьевич Сергачев. Мы сообщали. Псевдоним он взял по отчеству.

– При каких обстоятельствах он погиб? – вступил в разговор Антон.

– Случайность, – выпуская дым из широких ноздрей, нехотя начал рассказывать Колесов. – Возвращался из города к нам и напоролся на мины. Немец не сообщает, где и

когда их ставит, особенно если рядом с лесом. Я сам ездил хоронить, сомнений в том, что это был действительно Сергачев, у меня нет. Мы до войны вместе работали по борьбе с бандитизмом.

Помолчали, отдавая дань памяти погибшему, потом Чернов, беспокойно ворочая шей в вороте френча, настороженно поинтересовался:

– Имеете подозрения? Какие? Сушкова я знал еще с Гражданской. Толковый, но скрытный. Я, бывало, подсяду вечером к костру, заведу с ним разговоры по душам, чую, что он из офицеров, правда, в небольших чинах, но чую, а он в молчанку играл или болтал о пустяках. Комвзвода его красноармейцы сами выбрали, доверяли, воевать он умел. Зря вперед не лез, но и труса не праздновал, людей берег. От казачьей конницы вместе мы уходили, потом его тиф свалил. Меня перебросили в другую часть, и разошлись наши пути, а потом встретились уже перед войной, на дороге, когда он бродяжничал.

– И вы его сразу узнали, Михаил Петрович? После стольких лет и невзгод? – словно между делом, бросил Семенов.

– Я ему жизнью обязан, – обиженно поджал губы Чернов, – кабы не он, срубили б меня казачки. Какой из меня тогда был военный, впрочем, и сейчас тоже не очень-то... Как его увидел, то прямо сердце екнуло – думаю, неужто он? Ну а потом проверял, конечным делом, не откуда-нибудь, из тюрьмы человек пришел. Колесов помогал его устроить на

работу, вместе предложили Дмитрию Степановичу остаться у немцев в городе. Как хотите, я Сушкову верю. Много ценного передал, с нашей помощью в «Виртшафтскомандос» к фон Бютцову пристроился, да как оказалось, себе на погибель.

Он снял шапку, обнажив облысевшую голову, и сразу стал заметен возраст Чернова. По контрасту с загорелым лицом, с малоприметными морщинами, прятавшимися в несходявшем и зимой загаре человека, много времени проводящего на открытом воздухе, лысина показалась мучнисто-белой, обрамленной поседевшими волосами, сохранившими свой первоначальный цвет только на висках и над ушами. Сморщив изрезанный глубокими морщинами лоб, Михаил Петрович спросил:

– Этот, который с ним в немежском СД сидел, а потом бежал, чего про Сушкова говорил? Какие тот получил сведения?

Павел Романович отвернулся к оконцу, словно и не слышал вопроса; наблюдавший за прилетевшими гостями Колесов, видя это, опять нахмурился, и Антон, глядя прямо в глаза секретаря, ответил:

– Затем и прилетели, чтобы узнать.

Начальник разведки партизанской бригады только вздохнул и хрустнул пальцами, уставив ледышки глаз в стол.

– Фото Сушкова беглецу показывал?! – не поднимая глаз, буркнул он.

– Не узнал, – повернул голову Семенов. – Однако, если бы узнал, это подозрительно. У нас есть только портрет Сушкова до осуждения, а прошло много лет, и избили его до неузнаваемости. Здесь искать противоречия трудно. Остальные приметы переводчика полностью совпадают с тем, что вы нам передали. Приметы Прокопа-Сергачева, или Андрея, тоже. Он что вам сообщал перед гибелью?

– После приезда из Берлина эсэсовского чина Дмитрий ездил с фон Бютцовым на охоту, устроенную для гостя. Вернувшись в город, попросил через связную о срочной встрече, но по дороге на явку был арестован.

– Явка на Мостовой, три? – уточнил Антон.

– Да, – глухо ответил Колосов, – там Прокоп жил у одной старухи. Дом сгорел уже после гибели Сергачева. Мы проверяли, обычный несчастный случай. По Слободе тоже работали – его знают, действительно воевал в партизанах и сидел в лагерях, несколько раз бежал. Прокоп сообщал, что к нему приходила девчонка из деревни, где скрывался беглец. Тут немцы везде его фото на листовках развешивали, ошибки быть не могло. Мы дали добро на встречу, надеясь узнать, что хотел сообщить Сушков, но, возвращаясь после встречи в отряд, Сергачев подорвался на mine. Тело я видел.

– Да, я слышал, – напомнил Волков. – В деревне были?

– Пожгли каратели, – вздохнул Чернов, – всю пожгли, а жителей расстреляли. Кто-то донес, а кто, нам выяснить пока не удалось.

– После побега, особенно когда Слободу не нашли, немцы как с цепи сорвались, – помолчав, продолжил Колесов. – Весь город и район вверх дном перевернули, карательные экспедиции одна за другой, нам пришлось отойти, связь с людьми в городе почти оборвалась, а когда опять перебазировались, то выяснилось, что подполье надо практически заново воссоздавать. Полютовали они в Немеже.

– Как сейчас? – поправил фитиль коптилки Семенов.

– Налаживаем, – начальник разведки явно был не расположен к пространным объяснениям, – восстановили несколько явок, работаем.

Было слышно, как топчется около землянки специально выставленный часовой; в низкое, почти вровень с землей, оконце проник тонюсенький лучик солнца, предвещаая близкий вечер; где-то неподалеку рубили дрова, и топор звонко стучал, раскалывая поленья. С тихим шорохом сыпался песок с земляных стен, обитых березовыми неошкуренными жердями, делавшими землянку светлее.

Мигал огонек коптилки, сделанной из гильзы немецкого снаряда, и без этого огненного мотылька с траурной каймой сажи на конце язычка пламени даже березовые жерди не спасли бы от сумрака. Ломались на стенках тени сидевших за столом людей, а снаружи причудливо играл вечерними красками угасающий весенний день – ветреный, прохладный, но уже заметно припекающий на затишье, с сочной зеленью надевшего свой роскошный наряд леса и первыми цветами на

полянах.

«Сидим, как заговорщики, – невесело подумал Волков, – и не можем сказать друг другу всего в открытую. Правда, Чернов и Колесов могут, а у нас нет на это права: слишком многое будет потом связано даже с одним неосторожно брошенным словом».

– Подходы к немцам есть? – прервал он затянувшееся молчание. – Или после гибели Сушкова все отрублено?

– Такого, как Дмитрий Степанович, нам, конечно, теперь найти трудненько, – вздохнул Чернов. – Хороший был человек, пусть и путался в жизни, но какой-то незащищенный, что ли, хотя и постоять за себя умел. Терялся от несправедливости судьбы и людей, мягкий чересчур, но языком немецким владел, как истый фриц. Долго они ему доверяли, однако Бютцов, как ни прискорбно, оказался хитрее нас. А подход мы нашли, правда хилый, зачем скрывать – парикмахерша, обслуживает ихних летчиков с аэродрома.

– Надежна? – прикуривая от огонька коптилки, бросил на секретаря испытующий взгляд Семенов, поняв невысказанную мысль Антона.

– Хотите в город отправиться? – вопросом на вопрос ответил Колесов.

– Контакт можно установить с этой парикмахершей? Кстати, как ее зовут? – поинтересовался Волков.

– Нина, – ковыряя ногтем сучок на сосновой плашке стола, отозвался начальник разведки. – Как хотите, так и устро-

им, а насчет надежности можете не сомневаться. Что еще?

– Надо отправить разведку в поиск по определенному маршруту, – попросил Волков, – проверить путь Слободы к фронту. Можете? И... как там Бютцов поживает?

– Разведчиков подготовим и пошлем, – согласился Колесов, – а немчик ваш живет неслабо, в замке устроился, где госпиталь люфтваффе. Там и его берлинское начальство обитает. В город ездят, но не часто, больше вызывают местных гадов к себе. Общаются преимущественно с начальником СС и полиции Лиденем, с армейскими чинами и, крайне редко, с гражданской администрацией. Бютцов весь замок перекопал, это еще Сушков рассказывал, сокровища, якобы спрятанные польским паном, ищет. Говорят, картины нашел, но я пока не установил, правда или нет. Целый саперный батальон держит для раскопок.

– Немцев в Немеже много? – Семенов примял окурок в пустой жестянке и достал новую папиросу.

Первые сутки их пребывания в немецком тылу скоро подойдут к концу, а нового еще ничего узнать не удалось, и дополнить сведения, которые уже собраны в Москве, пока практически нечем. Если дело так пойдет и дальше, сколько же тут придется торчать? Ждать в Центре не станут. Проккоп-Сергачев подорвался на mine; деревню, в которой прятался после побега Семен Слобода, немцы сожгли, расстреляв всех жителей; дом, где располагалась явка, сгорел вместе с хозяйкой; Сушкова повесили во дворе тюрьмы СД, а сам

Слобода обезумел от пережитого... Дела!

— Хватает, — погладив себя ладонью по лысине, горько усмехнулся Михаил Петрович, — аэродромная обслуга и охрана, в том числе словаки, — он начал загибать пальцы, — саперы из замка, госпитальная обслуга, гарнизон с эсэсовским взводом комендатуры, полицаи, гестапо, летчики, охрана станции, каратели, части, отведенные с фронта для отдыха и пополнения, автомастерские, депо, мостоотряд. Еще тюрьма с усиленной охраной и снабженцы-тыловики. Те вообще, как крысы, шастают.

— Что про берлинского гостя слышно? — Антон откинулся спиной на березовые жерди, ощутив их округлую твердость и тонкий, не успевший выветриться аромат леса. Послать бы к чертям всю эту войну, уйти сейчас в заросли, дышать полной грудью, забыв о немцах, подозрениях в измене, перелезтах через линию фронта. Жизнь так хрупка и случайна, а мы сами укорачиваем ее себе и другим, только в конце пути начиная понимать, как многое сделано зря, как никчемно и бездарно потратил силы, не помогая, а мешая другим жить.

Но сейчас он именно помогает, и нет права забывать о долге, предавать тех, кто доверил ему свою судьбу. И это не только генерал, лихой кавалерист в прошлом, заключенный тоже в прошлом, а ныне командующий фронтом, — это Ермаков, сотни тысяч красноармейцев и командиров, огромные массы людей, чья дальнейшая судьба прямо или косвенно зависит от того, что и как сделают здесь с помощью укрывших-

ся в лесах народных мстителей два прилетевших из Москвы разведчика-чекиста.

– Сушков, помню, рассказывал про него, – откликнулся Колесов. – Тощий, волосики серые, высокий, костистый, на пальце перстенок носит с черепом. Серебряный, что ли, в общем, белого металла.

– Платиновый, – поправил Волков. – Это оберфюрер Бергер из РСХА, а колечко с черепом ему лично Гиммлер подарил за службу. У них считается очень почетным получить такой презент от рейхсфюрера. У Бютцова шрам на голове есть? Вот тут? – он показал, где должен остаться след его пули.

– Есть, – удивленно посмотрел на него Колесов. – Точно. Знакомый, что ли?

– Это несущественно, – прервал его Семенов, – просто о противнике следует знать все, вплоть до мелочей, поэтому Хопров интересуется. Готовьте поиск разведчиков, маршрут мы дадим и начнем собираться в город. Желательно, чтобы нас в лагере видели как можно меньше.

– Ежику понятно, – буркнул начальник разведки. – Если мундирчики немецкие хотите натянуть, то не советую. Жестоко у них там с учетом не только прибывающих, но и проезжающих. Первый же патруль остановит и потащит в комендатуру. Лучше попробовать с местным населением смешаться и пройти, хотя это тоже... Но мы еще помозгуем, как все устроить, есть одна мыслишка. Если вопросов больше нет, то

сейчас я вам ужин принесу, а потом зайду с бумагами. Посидим, покурим, про оперативную обстановочку в Немеже расскажу. У меня все немецкие приказы и распоряжения подобраны в хронологическом порядке, трофейные документы есть, письма солдат и офицеров. Глядишь, пригодится чего.

– Спасибо, – улыбнулся Волков...

Ночью Антон долго лежал на нарах, прислушиваясь к шумам леса и к тому, как беспокойно вертится внизу Павел Романович. Не спалось ему – день тяжелый, полный разговоров и напряженной работы. Колесов принес несколько сумок бумаг и сильный фонарь. Читали до одури, до рези в глазах – приказы, листовки, распоряжения бургомистра и военного коменданта, предписания, письма немцев к родным и знакомым, справки жандармерии и полиции, биржи труда и интенданских служб. Горы документов, за которыми – невидимый постороннему глазу каждодневный и опасный труд подпольщиков и чекистов, партизанских разведчиков и связных. Попутно расспрашивали начальника разведки о работе подполья в городе, обстановке в прилегающих к нему районах, ценах на базаре и черном рынке, приметах выявленных осведомителей полиции и гестапо, изучали разведданные, полученные подчиненными Колесова.

Начальник разведки притащил с собой и большой, сложенный в несколько раз лист плотной бумаги с планом Немежа, изданный еще в панской Польше. Наложив на него полупрозрачную кальку с новыми названиями улиц, данными

уже при советской власти и аккуратно надписанными карандашом немецкими названиями, он, показывая на условные значки, объяснил, где располагается тюрьма СД, городская управа, биржа, рынок с торговыми рядами, костелы, замок, гестапо и резиденция военного коменданта.

Его толстый палец уверенно полз по ущельям улиц и тыкал ногтем в квадратики зданий:

– Дом пять, автомастерские... Потсдамштрассе, бывшая Мицкевича, дом двенадцать, общежитие полиции...

«Совсем он не сухарь, закоснелый в своей подозрительности, как мне показалось вначале, – подумал Антон, слушая Колесова и наблюдая за ним. – Просто человек смертельно устал и привык постоянно держаться настороже. А так он мужик свойский, дело знает туго, а что не расположен к сантиментам и не заискивает перед прилетевшими, за это честь ему и хвала. Лучше иметь дело со знающим человеком, пусть усталым и несладким по характеру, чем с пустым угодливым попугаем, ничем не способным помочь. А сколько сейчас “попугаев” сидит на разных должностях и командует такими, как Колесов...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.